



Вацлав
Михальский

Повести и рассказы

том первый

Вацлав Вацлавович Михальский
Собрание сочинений в десяти томах.
Том первый. Повести и рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9528813

Вацлав Вацлавович Михальский. Повести и рассказы. Том первый: Издательство «Согласие»;

Москва; 2015

ISBN 978-5-906709-11-0, 978-5-906709-10-3

Аннотация

Собрание сочинений Вацлава Михальского в 10 томах составили известные широкому кругу читателей и кинозрителей романы «17 левых сапог», «Тайные милости», повести «Катенька», «Баллада о старом оружии», а также другие повести и рассказы, прошедшие испытание временем.

Значительную часть собрания сочинений занимает цикл из шести романов о дочерях адмирала Российского императорского флота Марии и Александре Мерзловских, цикл романов, сложившийся в эпопею «Весна в Карфагене», охватывающую весь XX в., жизнь в старой и новой России, в СССР, в русской диаспоре на Ближнем Востоке, в Европе и США.

В первый том собрания сочинений вошли рассказы и повести, известные читателям по публикациям в журналах «Дружба народов», «Октябрь», а также «Избранному» Вацлава Михальского (М.: Советский писатель, 1986). В качестве послесловия том сопровождает статья Валентина Петровича Катаева «Дар воображения», впервые напечатанная как напутствие к массовому изданию (3,5 миллиона экземпляров) повестей Вацлава Михальского «Баллада о старом оружии», «Катенька», «Печка» («Роман-газета». № 908. 1980).

Содержание

К читателям	5
Повести	10
Катенька	10
Печка	36
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вацлав Михальский
Собрание сочинений в десяти томах.
Том первый. Повести и рассказы

© Михальский В. В., 2015

К читателям

*Памяти моей матери Зинаиды Степановны Михальской
посвящается настоящее собрание сочинений*



В прижизненных собраниях сочинений, как правило, авторский текст предваряет большой критико-биографический очерк об авторе и его работах. Если текст автора по природе своей долговечен, как, например, у Валентина Петровича Катаева, то предпосланный ему критико-биографический очерк устаревает очень скоро и выглядит неким анахронизмом уже

через 20–30 лет. Слом политических формаций, случившийся в СССР в 1991 году, сделал это особенно наглядным.

Почему я решил сам написать короткие примечания, а еще лучше – поучаствовать в этой работе совместно с опытным редактором? А чтобы не на кого было пенять в случае тех или иных промахов. Меня не пугает, что «так не делают». Все в этом мире сначала «не делают», а потом начинают делать.

Обычно значительная часть критико-биографического очерка бывает посвящена оценке трудов автора. Поскольку очерка у нас не будет, я хочу восполнить этот пробел статьями четырех уважаемых мной людей, которые посвящены моим работам. Это статьи Валентина Катаева, Льва Аннинского, Игоря Шкляревского, Юрия Павлова. Статьи будут напечатаны в первом, третьем, девятом и десятом томах.

Я родился 27 июня 1938 года в городе Таганроге. Девяти месяцев от роду был увезен матерью в Дагестан. Там прошло мое детство, часть отрочества и юности, почти вся молодость. В Таганроге я больше не бывал никогда в жизни. Так сложилось, что я никогда не возвращаюсь в важные для меня места. У очень хорошего американского писателя Томаса Вулфа есть такой роман: «Домой возврата нет». Именно так – домой возврата нет.

После окончания средней школы я работал на заводе, служил в Армии. В 1960 году поступил в Литературный институт, в 1965-м окончил его по отделению прозы. На четвертом курсе института, в 1964 году, я был принят в члены Союза писателей СССР. В этом смысле мне повезло: в дальнейшем ни на какой работе никто не поучал меня, как правильно держать ручку. Защитив диплом повестью «Баллада о старом оружии», я сразу уехал в Дагестан. Работал в газете «Дагестанская правда», сотрудничал с центральными газетами, особенно много с «Сельской жизнью». Много ездил в кузовах бортовых автомашин, верхом на лошади, ходил пешком по Дагестану, Кабарде, Чечне.

Моя первая книга «Рассказы» вышла в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве. В 1967 году в Махачкале вышел мой первый роман «17 левых сапог» тиражом 50 тысяч экземпляров. Для того времени это был весьма скромный тираж. Пошли многие сотни писем от читателей из разных уголков страны, да и в нашем городе роман читали все читающие. Его читают до сих пор.

В Москве меня не печатали. В ответ на мои рукописи присылали отписки внештатных рецензентов. Как говорил замечательный поэт и остроумный человек Расул Гамзатов: «Вацлав, конечно, хороший писатель, но Москва его что-то не понимает».

Что правда, то правда: «Москва меня не понимала». Первую книгу в Москве я издал только в 1980 году в издательстве «Современник».

В 1979 году за повесть «Печка», которой я дебютировал в журнале «Октябрь», и цикл статей, напечатанных в газете «Правда», мне дали первую премию Союза писателей СССР имени К. А. Федина. Тогда это была новая и важная премия, сейчас ее нет, как нет и самого Союза писателей СССР.

Книга «Стрелок» в издательстве «Современник» и моя роман-газета с тремя повестями («Печка», «Катенька», «Баллада о старом оружии») вышли на одной неделе в 1980 году.

В 1986 году издательство «Советский писатель» опубликовало мое «Избранное». Перед этим, в 1982 году, я напечатал в журнале «Октябрь» роман «Тайные милости», за который получил годовую премию журнала.

С тех пор я 18 лет ничего не писал. Почему? Не знаю. Просто не хотелось, хотя все двери были открыты – печатайся, не хочу.

В 1975 году я окончил Высшие сценарные курсы при Госкино СССР. В 1987, 1988, 1989, 1990 годах по моим сценариям, сделанным по моим повестям и романам, на киностудии имени А. М. Горького были поставлены художественные фильмы: «Баллада о старом оружии», «Катенька», «17 левых сапог», «Тайные милости». Три первых и до сих пор крутят

по телевидению, продают на дисках. Наверное, мало кто из читателей знает, что при этом авторы фильмов, выпущенных в СССР, не получают ни копейки. Таково наше авторское право, вернее, бесправие.

С 1990 года я начал заниматься собственной издательской деятельностью. Толстый литературно-художественный журнал «Согласие», главным редактором которого я был с 1990 по 1995 год, безусловно, вышел тогда в первый ряд толстых журналов, но у меня не хватило ума сбросить его тираж до трех или четырех тысяч экземпляров, и тогда он бы существовал по сей день.

В 1994 году издательство «Согласие» одномоментно выпустило собрание сочинений «первого поэта русской эмиграции» Георгия Иванова. Потом вышли на таком же высоком уровне собрания сочинений Владислава Ходасевича, Гайто Газданова и далее, известные всем читающим людям книги издательства «Согласие», которые у многих стоят дома на полках. Как писал Лев Аннинский: «Важнейшая характеристика позиции издательства «Согласие»: выстраивание фундаментальной системы ценностей в культуре. “Достояние России” – так называется и соответствующая программа. Издания рассчитаны не на рыночный спрос, не на скорую продажу, иногда вообще не на продажу, а на базисное пребывание в умах и хранилищах».

В 1987 году в составе делегации Союза писателей СССР из трех человек я побывал в Тунисе. И там, в цокольном этаже русской церкви, встретил графиню Марию Александровну. Так я узнал из первых уст о русском флоте в Бизерте и еще о многом. Попытался написать рассказ, но он не пошел: содержание требовало другой формы.

Я все забросил. А в 2000 году вдруг начал писать роман «Весна в Карфагене». Сел к столу и написал: «Много мечетей в славном городе Тунисе и всего одна православная церковь».

Я 18 лет ничего не писал и, соответственно, нигде не печатался. И вот, написав первые 90 страниц (первую из четырех частей) романа «Весна в Карфагене», я позвонил главному редактору журнала «Октябрь» Ананьеву и спросил:

– Анатолий Андреевич, я начал писать роман. Будете печатать «с колес»?

– Поздравляю. Очень рад, что ты опять начал писать, – ответил Ананьев. Помолчал и добавил: – Печатать «с колес» буду, тащи.

Я «притащил». Невероятно скоро первая часть романа «Весна в Карфагене» увидела свет. И пошло-поехало. Почти уверен, что если бы не добрая воля Анатолия Андреевича Ананьева, то, скорее всего, ни «Весны в Карфагене», ни других романов этого цикла я бы не написал.

Я печатал свои романы в журнале «Октябрь» по мере написания очередной части, а их в каждом романе три или четыре. Это продолжалось 12 лет. Знатоки говорят, что знают только один случай подобного печатания романа сразу «из чернилницы», было это еще до войны и тоже в журнале «Октябрь». Я очень благодарен всем работавшим со мной сотрудникам журнала «Октябрь».

В 2003 году за роман «Весна в Карфагене» я был удостоен Государственной премии России. Анатолия Андреевича Ананьева к тому времени уже не было в живых.

Я считал роман «Весна в Карфагене» законченным и не собирался его продолжать. Но в журнале каким-то мистическим образом было напечатано после финала: «Конец первой книги». Пошли письма читателей с просьбами рассказать о дальнейшей судьбе моих героинь Марии и Александры. И как-то сами собой последовали романы «Одиному везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria». Так сложилась эпопея, которой я отдал 12 лет. А правильнее будет сказать, которая придавала смысл 12 годам моей жизни, а значит, помогала жить даже физически.

Тема эмиграции и, если можно так сказать, разорванности сознания многих русских, проживающих за границей, оказалась близка широкому кругу моих читателей. Я благодарен тем многим людям, которые прислали письма по поводу этих моих книг. Я ведь понимаю, что в наши дни написать и отправить письмо – это маленький подвиг.

Эпистолярный жанр – полноправный и замечательный литературный жанр. А та приправленная матом скороговорка, которая царит сейчас в Интернете, думаю, к эпистолярному жанру не относится. Хотя людям и кажется, что они переписываются друг с другом. Но у них нет ни времени, ни желания остановиться и оглянуться, остановиться даже во гневе.

Место действия цикла моих романов («Весна в Карфагене», «Одиному везде пустыня», «Для радости нужны двое», «Храм Согласия», «Прощеное воскресенье», «Ave Maria») – Россия, СССР, Тунис, Франция, Чехия, Португалия. Время действия – XX век.

11 апреля 2011 года я завершил последний роман цикла «Ave Maria». Те, кто когда-нибудь делал объемную многолетнюю работу, знают, какая после этого наступает пустота.

Пустота была большая, и я начал писать кавказскую повесть «Адам – первый человек». Сейчас и она закончена. Что буду писать дальше, не знаю. Из самодостаточных романов о сестрах графинях Марии и Александре Мерзловских сложилась эпопея – жанр по нашим временам реликтовый. Многие уважаемые люди советуют мне ввести все романы, как под одну крышу, под единое название. Например, «Весна в Карфагене». Возможно, я так и сделаю.

Что буду писать дальше, еще не решил, хотя недостатка в сюжетах у меня нет. Пока думаю сделать Собрание сочинений в 10 томах. Я хочу, чтобы тома были страниц по 400, а не кирпичи по 700–800, которые годятся, чтобы стоять на полках, и гораздо дешевле в производстве, но читать их урывками в наше торопливое время просто невозможно.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать, а по ходу дела будет видно.

P.S.

За бортом настоящего собрания остались роман «Мир тесен», повесть «Паранг», большая детская книга «Трусик-Мусик», вся моя журналистская работа и много чего еще, написанного по случаю. Эти работы мне неинтересны. Я включил в Собрание сочинений только то, что уже доказало свою жизнеспособность или, как мне кажется, еще докажет.

И еще одно техническое замечание. Многие читатели романов о Марии и Александре Мерзловских жаловались на слишком мелкий текст в сносках. Льву Аннинскому сноски так нравятся, что он даже предложил влить их в основной текст. Этого я делать не буду. Мои сноски – литературный прием, они изначально задумывались сносками.

Но шрифт, которым набраны эти сноски, конечно, надо увеличить, думаю, что тут читатели правы, – им видней. Так и сделаем.

14. II.2013

Вацлав Михальский

Повести

Катенька

I

Старые помнят себя молодыми, а молодые не представляют себя старыми. Так и течет жизнь, словно между двумя берегами, вперед, вперед: от новой молодости – к новой старости и опять – к вечной молодости.

У каждого человека есть свои причуды, большие или маленькие. У старого доктора Григория Васильевича Маркова причуд было несколько, и все – маленькие и добрые. Например, когда у него выпадала среди работы свободная минута, он выходил на больничный балкон и подолгу смотрел в потолок. Иногда он снимал очки, синие, с толстыми стеклами, и вытирал платком глаза, по-стариковски глубоко запавшие.

Курносая смешливая Верочка из регистратуры утверждала, что доктор, глядя в потолок, плачет... Верочке не верили, говорили, что просто у старика глаза слезятся, но всех удивляло, что видит Григорий Васильевич на этом дощатом потолке с бог весть когда ввинченными в него крючьями для качелей? А доктор смотрел именно на эти чудом уцелевшие крючья. Только они, только они одни, трухлые от ржавчины, остались единственными свидетелями его давным-давно минувшей молодости. Так думал Григорий Васильевич. И когда он, забывшись, глядел в потолок...

...Виделся ему весенний вечер, синее небо в первых крупных звездах. Он чувствовал аромат отпаровавшей земли с мягкими дорожками, протоптанными в синеватой грязи, слышал молодые голоса, спорящие о Блоке и его Прекрасной Даме, о Мережковском и Ибсене. Он видел себя в синей студенческой форме, с густым курчавым чубом, выбивающимся из-под фуражки. Студенческая фуражка так шла ему! Он любил смотреть в зеркало и в стекла раскрытых окон. Ему тогда хотелось быть неотразимым... А мать бранила его, что он вертится у зеркала, как барышня.

Выбритый, в только что отутюженном костюме, в накрахмаленной белой сорочке, он легко взбегал вот на этот, на этот самый балкон. Здесь ждала его Дарочка Малова, прелестная девушка с русой косой, гимназистка восьмого класса.

– Гриша?

– Да!

– Как же это Митя не втянул вас в спор?

– А я улизнул... Я знал, чувствовал, что вы здесь.

– Гриша!

– Я сказал что-нибудь нелепое? Обидел вас?

– Раскачайте меня посильнее, – просила Дарочка.

Она любила качаться на качелях, взлетать к самому потолку, отталкиваться от него своими чудными ножками в белых высоких ботинках на пуговицах. От катанья у нее всегда распускалась коса и билась за спиной золотым покрывалом. Удивительную власть имели над ним ее темно-золотые волосы. Порою, когда Дарочка пролетала мимо, ее волосы касались Гришиного лица, и он задыхался. Но вот, на лету, она останавливала качели, извинялась, заплетала косу, чопорно оправляя платье, прощалась с Гришей:

– Боже мой, уже так поздно. Отец опять сделает мне выговор, что я опоздала к вечернему чаю. Нет, Гриша, не задерживайте меня больше. – И он открывал ей тяжелую, на пружинах, дверь, что вела в комнаты. – Прощайте!

Григорий Васильевич, вспоминая Дарочку, часто спрашивал себя потом, почему она всегда, даже в те светлые дни, говорила ему не «до свиданья», а «прощайте», словно уже тогда начала с ним прощаться на всю жизнь.

Тихо и радостно пели пружины двери, только что захлопнувшейся за Дарочкой, и он ждал, пока они отпоят свою короткую песенку. А потом, возбужденный, весь еще во власти ее волос, шел бродить по улицам. Зачерпнув начищенными штиблетами ледяной воды, он вдруг замечал, что идет не по дорожке, а так, напропалую. Тогда в самой большой луже, где, подмигивая, мерцали звезды, мыл отяжелевшие от грязи штиблеты. Потом сидел на скамейке у своего дома, пока в доме напротив, в Дарочкином доме, не гасли все огни. Весь город погружался в темноту, а он все сидел, объедая горьковатые почки обступившей его со всех сторон сирени...

Но вот, кашляя, отплевываясь и чертыхаясь, выходил на его розыски отец, отсмотревший первый сон. И Гриша шел за ним в душевные комнаты, где тихо дышали во сне его братья и сестры. Мать, сразу проснувшись, приоткручивала фитиль в керосиновой лампе «молния» и просила его «выпить хоть стаканчик молока». Милая, милая мама, он не то что стаканчик молока, он вола жареного мог бы проглотить и съедал все, что оставалось на столе от вечернего чая.

«У меня нынче будет бессонница», – думал он, блаженно вытягиваясь в кровати, и засыпал.

А когда расцветала сирень... Сирень! На их улице, да и во всем городе не было двора, где бы не росла сирень. Есть ли цветы душистее, свежее, радостнее, чем тяжелые от росы гроздьи сирени! Белая, сиреневая, фиолетовая, красная, русская, французская, простая, махровая – сирень, сирень, сирень! Как она цвела в годы его молодости! Весь двор и сад Гришиного дома затопляла весною расцветающая сирень. В городе больше ни у кого не было такой роскошной сирени, как у них. Какое жгучее горе испытывал он всякий раз, когда, проснувшись, узнавал, что ночью кто-то безжалостно обломал в их саду куст сирени. Сирень – любимые Дарочкины цветы, как же было ему, Грише, их не любить. Сирень и качели сблизили их, сдружили с Дарочкой. И все уже поговаривали (да и сам он это чувствовал, только боялся верить), что Дарочка к нему тоже равнодушна.

Тогда в их шумной компании, и минуту не умевшей обходиться без споров, все были влюблены друг в друга. Влюблены, но любил только он один. Тогда он переживал небывенную пору своего короткого счастья. Притихшая, она часто сидела с ним рядом до поздней ночи, на скамейке, среди кустов сирени. Когда раздавался кашель Гришиного отца, они неслышно вставали и прятались глубоко в кустах. Что это были за минуты! Они стояли рядом, чистые и радостные, как весенняя капель.

Иногда всей своей компанией гимназистов и гимназисток они рассаживались на стульях возле Дарочкиного дома, заняв половину улицы, и пели свои любимые песни: «Вечерний звон», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Мой костер»... Он слышал, как вплетается в хор ее голос, как поблескивают в темноте ее пугливые серые глаза.

Городской сад с вековыми вязами и каменная лестница, которая вела к морю, были самыми примечательными в их маленьком приморском городе. Старожилы утверждали, что лестницу эту воздвигали по приказанию самого Петра Великого, а сад заложила его дочь Елизавета, посетившая после смерти отца этот город.

Может быть, для других каменная лестница и была редкостным сооружением, но они, молодые, никогда не помнили об этом: для них каменная лестница была просто местом свидания. Красиво отражались в море огни двух кожевенных заводов, что стояли на берегу.

Их шумная компания гимназистов и гимназисток, учеников реального и коммерческого училищ, студентов, оглядываясь, нет ли поблизости городского, прижавшись друг к дружке, пела:

*Вихри враждебные веют над нами,
Грозные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...*

Песня эта была запрещенной, а поэтому пелась с особенным чувством. И никому из них не могло тогда прийти в голову, что поют они о себе, что именно их ждут безвестные судьбы.

Приближалось начало учебного года, и теперь каждый день из их компании кто-нибудь уезжал. Гриша медлил, со дня на день откладывал отъезд. На тридцатое августа мать сама взяла билет. Накануне, вечером, ему не удалось увидеть Дарочку – всей семьей они ездили в цирк. Тридцатого с утра он как потерянный слонялся по комнатам, слушал, как через улицу выстукивала на рояле гаммы Дарочка. Впервые каскад этих однообразных звуков бесил его, заставлял сжимать кулаки.

В семье Маловых было десять душ детей – шестеро дочерей и четыре сына. И все они, по мнению родителей, были талантливыми. У Дарочки же в самом деле был прекрасный слух и хорошие, способные для игры руки. Каждый день она по многу часов сидела за роялем, разучивая бесконечные упражнения: Гриша очень гордился этим ее упрямством, и ему никогда не надоедало слушать одни и те же музыкальные фразы, которые Дарочка, отделивая, повторяла без конца.

Гриша ходил мимо их дома взад и вперед, взад и вперед... Второй час без устали в доме Маловых играли на рояле.

«Ну что она тарабанит! Я же сегодня уезжаю! Нет, не любит она меня, не любит...» Что-то не пускало Гришу перейти улицу и войти в дом к Маловым... Ему так хотелось, чтобы Дарочка сама вспомнила о сегодняшнем дне, сама пришла.

Вот за ворота выбежала Катенька, младшая сестра Дарочки. Увидев Гришу, она, прыгая через скакалку, подбежала к нему.

– Гриша, – зашептала она, хитро оглядываясь по сторонам, – у нас Дарочкина учительница музыки, тоже мне, нашла время, когда визиты делать... Дарочка никак не может отлучиться... Она просила вас, Гриша, никуда не уходить. Дарочка говорит, что ей нужно передать вам книгу... – опустив скакалку, выпалила Катенька одним духом и запрыгала. – Смотрите, Гриша, я до ста на одной ножке могу, смотрите! Ах, вам не до меня. Уезжаете, Гриша, да? Не хочется? А я так люблю уезжать... Только вот некуда... Тоже мне... Ну, Гриша, я побежала, меня Дарочка ждет, что ей сказать?

– Передайте, что никуда не уйду, что буду ждать у себя в комнате...

Вот темно-вишневое форменное платье и белый передник мелькнули на улице, стукнула калитка, и Дарочка переступила порог – она забежала к ним занести какую-то книжку, прежде чем идти в гимназию. Отчаявшись, Гриша поспешил к ней навстречу:

– Дарочка!

– Да!

– Нам нужно проститься...

– Да!

– Я уезжаю на вечность, бог весть, смогу ли я приехать на зимние каникулы... Ведь все-таки война.

– Да, война, – как эхо отозвалась Дарочка.

Они вышли за калитку и пошли не в сторону гимназии, а на окраину города, которая звалась Собачеевкой. Пошли плутать по кривым улочкам и переулкам... Город остался позади, они вышли в степь. Выжженная августовским солнцем, она дохнула на них полынью. Белая степь, придавленная низким туманным небом. Над степью висело дождевое марево, мелкая-мелкая дождевая пыль оседала на землю.

– Мигичка!

– Ага!

Эту дождевую пыль у них в городке называли «мигичкой». Он снял свою студенческую тужурку и укутал ее плечи, так легко, радостно и просто он мог бы отдать ей сейчас свою жизнь. Они тут же забыли о дожде и не повернули в город, а пошли дальше, в степь.

– Гриша!

– А?

– Нет, ничего. Дождь.

– Да!

– Вы как водяной!

– А у вас, Дарочка, совсем мокрое лицо, волосы!

– Ерунда!

– Побежали к стогу, дождь все сильнее, переждем, – потянул он за пустой рукав тужурки.

Стог был щетинистый и мокрый. Пахло прелью, прибитой дождем хлебной пылью. Гриша, принимая на себя тысячи брызг, сделал в нем удобную пещеру. Устроившись в ее теплом логове, они почувствовали вдруг, как промокли и озябли. Они были безмерно счастливы и несчастливы. И каждое мгновение помнили о купленном билете и о том, что поезд уходит в четверть седьмого. И не могли понять, почему даже сегодня потеряли так много времени на разные глупые мелочи и не были вместе. Но продолжали молчать. И молчание их было древним и красноречивым, как сама земля, как небо и солнце, воздух и дождь.

Они думали, что не нуждаются в словах. Ошиблись – им все-таки пришлось сказать пять слов:

– Вы будете меня ждать?

– Да!

По дороге домой Гриша все время думал о том, почему у него не хватило решимости поцеловать Дарочку?

«Она доверилась мне, и, пока она не будет моей официальной невестой перед Богом и перед людьми, я не прикоснусь к ней пальцем, – с благоговением думал он, – придем домой, попросим у родных благословения...»

Но дома... Еще издали они увидели, что возле Гришиного дома стоит извозчик. Оказывается, до отхода поезда оставалось двадцать минут! Гришин отец метался между домами и пролеткой и кричал:

– Этого сукиного сына, Гришку, выпороть при всем народе! Спущу штаны и высеку, как щенка!

А вокруг стояли соседи и высказывали предположения, где Гриша запропал. Дарочка все слышала. От захлестнувшей его обиды и ненависти Грише казалось, что он сейчас убьет отца. Мать помешала их ссоре. Откуда у нее, маленькой и худенькой, взялась такая сила? Она втокнула сына в пролетку, попросила извозчика гнать. Пролетка застучала и запрыгала по каменной мостовой. Гриша не махнул на прощанье рукой, не обернулся: все равно погиб!

– Эх, штаны бы ему спустить да по голой, по голой розгами, знал бы, как с барышней разгуливать! – кричал вслед удаляющейся пролетке старый мирошник на потеху соседям.

Дарочка в измятом платье, с поблескивающими соломинками в растрепанных косах стояла посреди любопытной толпы.

– Пусть только деньги на билет пропадут – как щенка выпорю! – не унимался старик. Ни на кого не глядя, Дарочка подошла к старику вплотную:

– Да постесняйтесь вы меня, слышите, меня, невесту вашего сына, Гришину невесту! Старик поперхнулся, закашлял, закрестился...

– Если так, прости меня, крестница, во имя Николая Угодника, прости! Мать мне давно говорила, да я не верил, что ты, красавица, умница, Гришу нашего приветишь. А вы чего рты пораззявили! – гаркнул он на толпу. Почтительно взял Дарочку под руку и повел в родной дом, к отцу и матери, чтобы просить ее руки для своего, как он выразился, «горячо любимого сына».

Гриша всего этого не знал, он лежал в душном вагоне на верхней полке, просил у судьбы скорой смерти, представлял свои похороны и плакал...

Война, которую они поначалу не ощущали реально, вмешалась в их жизнь и перепутала все планы. Гриша учился в медицинском институте, его мобилизовали и послали работать в лазарет. Раненых с каждым днем прибывало все больше. Об отпуске и поездке домой нечего было мечтать.

Все это время Гриша писал Дарочке длинные путанные письма о госпитале, о раненых, о своей любви к ней и ничего о самом себе. Дарочка отвечала ему короткими записками – отчетами о своей девичьей жизни. Он был в курсе всех ее тайн, мечтаний и простых дел. Но вот из дому Грише сообщили, что случилось несчастье: умер Семен Григорьевич Малов – Дарочкин отец. Три месяца она молчала... Потом он получил короткую записку: «Ты знаешь, какое несчастье нас постигло». И все. Ни жалоб, ни слез. Из писем родных он знал, что Дарочка теперь бегает по урокам музыки и все заботы о большой семье взяла в свои руки. Ему же ни словом не обмолвилась, словно это было все просто. А еще недавно писала, какого цвета ленту вплетала она сегодня в косы.

II

Минуло два долгих года, прежде чем они увиделись. Пройдя через много мытарств, он добился перевода в госпиталь в родном городе.

«Вот приеду, женюсь и все заботы об их осиротевшей семье возьму в свои руки», – радовался Гриша.

Поезда в те годы ходили плохо, поэтому он ни кого не предупредил о своем приезде. И на вокзале его никто не встретил. Гриша вышел из вагона, огляделся, снял фуражку, расстегнул студенческую тужурку, из которой окончательно вырос. Все спешили, и никому не было дела до его лирических переживаний. Гриша поднял свой легонький чемоданчик и пошел одинокий среди говорливой толпы к выходу в город.

Вот и привокзальная площадь. Сколько раз мысленно за эти два года он ее представлял. Она казалась ему необыкновенной, недостижимой. И вот он стоит здесь, на площади, оглядывается и не верит сам себе, не верит ей, почему она его так обманула! Какая она, оказывается, маленькая, грязная, сколько на ней пьяных и безногих. Какие-то толстые, растрепанные женщины, сидя прямо на земле, бойко торгуют жареной рыбой, марафетами – целый базар. Раньше ничего подобного не было. Он шел мимо знакомых домов, все они стали меньше, будто бы их врыли в землю. Он замечал каждую новую выщербинку на каменных плитах тротуаров... искал и находил на них знакомые трещины, уже поросшие травой, и улыбался им. Улыбался тому наивному Грише – студенту, который два года назад с необыкновенной важностью ходил по этим плитам. За эти два бесконечных года чужого горя, слез и смерти он стал таким чужим и далеким тому юнцу, который считал, что, выдержав экзамены и став студентом, он завоевал мир. Он видел много и многому научился, а чувствовал себя сейчас слепым щенком.

Вот его перегнала тоненькая девочка-подросток. Она оглянулась, и что-то родное полоснуло по сердцу.

– Катенька! – воскликнул Гриша. – Катенька, как ты выросла, совсем барышня!

– Еще бы, я уже в шестом классе, – вспыхнув румянцем, рассмеялась девочка и сразу же перестала быть похожей на свою старшую сестру. У Дарочки смеялись только губы, но всегда оставались пасмурными большие настороженные глаза. У Катеньки смеялись глаза, и губы, и ямочки на щеках, и даже веселые завитушки темно-золотых волос. – Почему вы не сообщили о своем приезде? Дарочка же волнуется – писем нет. Говорит, что-то случилось, он же каждый день писал, а теперь молчит. Она видела вас во сне пьяным – это к болезни. Мама гадала, вам выпал благородный король и хлопоты.

Гриша обнял Катеньку и крепко расцеловал.

– Не сердитесь, скоро ведь мы с вами станем родственниками.

Катенька и не думала сердиться. Гриша был женихом ее старшей сестры – его любовь к Дарочке, по твердому убеждению Катеньки, должна была вмещать нежные чувства и к ним, младшим братьям и сестрам.

Катенька искося, из-под пушистых ресниц, с любопытством разглядывала Гришу. И удивлялась и досадовала, что он такой обыкновенный. На лбу пот, серые усы и бородка, как пыль. Непонятного цвета, очень поношенный френч, на глазах очки с толстыми стеклами, совсем некрасивый и еще сутулится. И что только Дарочка в нем нашла... Пойди пойми ее, она не посвящает Катеньку в свои дела, считает ребенком. И Митя, и мама – все как сговорились: ты еще ребенок, тебе еще рано, поменьше любопытничай, и все в таком роде... А она все не хуже их понимает, но разве им докажешь? А Гриша сразу принял Катеньку как равную. Она это с первой минуты почувствовала и оценила.

– Гриша, я не скажу сестре, что вы приехали, сделаем ей сюрприз!

– Вы, Катенька, умница, – рассмеялся Гриша.

– А почему вы мне говорите «вы»? – лукаво блеснула глазами девочка.

– А вы, Катенька?

– Нет, так не годится, давайте говорить друг другу «ты». Вы же сами говорите, что мы родственники. Надо выпить на брудершафт! Но у вас все же сейчас нет вина, а дома мне не позволят. Давайте так... – Катенька быстро нагнулась, сорвала два нежных листика калачика, растущего в щели тротуара. Один листок протянула Грише, другой оставила себе. – Это вместо вина, – засмеялась Катенька, – теперь давайте их съедим! Вот так, – она взяла Гришу за руку. – Давайте, Гриша! – Девочка быстро съела листик калачика и поцеловала растерявшегося Гришу в губы. – Вот и все! Теперь мы на «ты»! Смотрите, смотрите, бежит! Цезарь! Цезарь узнал вас, узнал тебя, ах, умница.

Седой, лысый сенбернар Цезарь со всего маху бросился Грише на грудь.

– Идемте, Гриша, скорей.

– Да, да, Катенька, идемте. – Рядом бежал Цезарь и норовил лизнуть ему руку. А впереди бежали догадливые мальчишки, спеша сообщить мирошнику, что приехал его сын «доктор».

Мать и отец встретили его на улице. Дома, после шумных лобызаний, отец завел разговор о политике... Мать, заглядывая в глаза, допытывалась, почему Гриша так похудел, и потчевала на скорую руку собранным угощением. Брат Петька требовал, чтобы Гриша рассказывал ему о немцах. Пятилетняя сестренка Наташа качалась у него на ногах и, смеясь, кричала, чтобы он подбрасывал ее выше. Всем в доме он был необходим, и как они только жили без него?

А Гриша страдал, нервничал: в окно он видел, как, нетерпеливо поглядывая в сторону их дома, прогуливается Катенька и дергает себя за кончик косы.

А дома, как нарочно, находились для него все новые дела. Услыхав о Гришином приезде «оттуда», с поля брани, пришли любопытные соседи и своими расспросами задержали Гришу до вечера.

Едва Гриша вышел из дому, как Катенька ухватила его за руку и потащила за собой.

– Не удался наш сюрприз. Только не думайте, что это я разболтала. У нас такая противная улица! Сразу пять человек сестре сообщили. Дарочка ждала тебя, ждала и ушла в спальню. Я видела, она сидела там и плакала. Это первый раз после папиной смерти. Я вас очень заждалась. Как папа умер, она стала ужасной гордячкой, так соседи говорят. А на самом деле – это чтобы горе не растревлять. Все лезут со своими жалостями: «Ах, бедные, ой, как будете жить такой семьей, что без кормильца делать?» А Дарочка говорит, что она не любит, когда ее жалеют, и Митя не любит, а почему? Разве дурно, когда тебя жалеют? А мама говорит, что гордыня – большое зло, что гордые всегда несчастные, а ласковые телята двух маток сосут. А вы как думаете? Мама говорит, что у меня благодатный характер, я со всеми дружна и мне всегда весело.

Но Гриша не слышал, что говорила Катенька, и даже забыл, что она рядом.

Он открыл тяжелую дверь балкона, шагнул через порог. Посреди комнаты в черном платье стояла девушка. Большими настороженными глазами она отчужденно и надменно взглянула на Гришу. Он растерялся и онемел. Они стояли посреди комнаты, Гриша не мог заставить себя поднять глаза. Он потерял всякую власть над собой, стоял неловкий и безмолвный, и молчание это, казалось, горой навалилось на него.

Катенька заглянула в комнату, сестры встретились взглядами, и Катенька, фыркнув: «Подумаешь!» – хлопнула дверью.

– Привокзальная площадь стала такой маленькой и грязной, – облизав пересохшие губы, близоруко улыбаясь, сказал Гриша.

– Вы верно заметили: после Петербурга наш городок кажется провинциальным, – отвечала Дарочка.

– И в поезде было так душно, набилось столько мешочников, даже ног негде было вытянуть.

– А... Вы устали с дороги, так идите домой отдыхать.

Приоткрылась дверь, и Катенька крикнула:

– Гриша, мама просит вас с сестрой к столу! – и победно хлопнула дверью.

Боясь коснуться друг друга, как чужие, они прошли в столовую. Вся семья собралась за вечерним чаем. Дарочкина мать, Мария Петровна, поднялась навстречу Грише и заплакала, склонив голову на его плечо. Он так обрадовался этой бесхитростной встрече, что вместо того, чтобы утешить Марию Петровну, глупо улыбался. Так глупо, что Дарочка отвернулась. И стала смотреть на него еще равнодушнее, еще строже, а потом, сославшись на головную боль, ушла в свою комнату. Как только она ушла, Гриша сразу стал естественным и веселым. Он перецеловал всех Дарочкиных сестер и братьев и уселся с ними играть в лото. Катенька торжествовала: все младшие говорили Грише «вы», а она «ты».

– Гриша, ты не накрыл барабанные палочки! Гриша, у тебя квартира! – и посматривала на мать, на малышей: «Ну, что, мол?»

Но скоро Гриша загрустил – нелепость встречи с Дарочкой жгла его. Катенька сразу заметила перемену в его настроении и сказала:

– Ох, надоело это ло-то-о! Пойдемте, Гриша, посмотрим, прошла ли у Дарочки голова?

– Да, да! – обрадовался он.

Но дверь в Дарочкину комнату была заперта.

С того дня так и пошло: со всеми Дарочкиными родными у него были искренние, теплые отношения, а с нею игра в молчанку. На людях они разговаривали, смеялись. А как

только оставались одни, Дарочка сейчас же находила предлог уйти. Это обижало Гришу, делало его неуклюжим, молчаливым, нелепым.

Стояли последние дни апреля, Пасха в этом году выпала поздняя, и поэтому в каждом доме, на всей их улице, во всем городе к ее приходу готовились особенно тщательно. Земля давно отпаровала, разрывая землю острием своих стеблей, лезла зеленая тугая трава. В домах суетливо выставляли вторые рамы. Женщины мыли стекла, потом белили их мелом и, подождав, пока они высохнут, протирали бумагой. Стекла становились прозрачными, как воздух, и солнце яростно играло в них ослепляющим блеском. Казалось, весь город приступил к генеральной уборке, в домах стоял вкусный запах свежевывеленных стен, в комнатах было пусто и гулко. Подушки, ковры, матрасы лежали на солнцепеке посреди двора. В каждом дворе, подобрав платья, девчонки чистили толченым кирпичом сверкающие самовары... Тугие, каждую минуту готовые лопнуть почки и рядом с ними уже распустившиеся, еще влажные листья на кустах сирени, бездонная голубизна неба – все это создавало приподнятое, тревожное настроение ожидания чего-то большого, светлого, неповторимого... Никогда потом Гриша не переживал таких чудных дней. У Гриши в доме все было перевернуто вверх дном, и, пообедав на ходу, он отправился к Маловым, думая, что там уже царит чистота.

Но у них на балконе еще был хаос: старые вещи, разошедшиеся стулья, всевозможные картонки, вторые рамы, старая обувь, обрывки бумаг – все это загораживало проход, словно баррикада. Здесь с азартом хозяйничала раскрасневшаяся Катенька.

– Как хорошо, Гриша, что вы пришли, – встретила она его радостно, – вы будете мне помогать. Это все надо вынести в сарай, а кое-что просто выкинуть в сорный ящик. Они с Митей вешают гардины и портьеры, хитренькие, а я тут должна со всем этим мусором управляться. Дарочка говорит, мальчишек попроси, чтобы помогли, а я с ними поссорилась, мы в чижика играли, и они жилили, терпеть не могу жил! Гриша, вот от сарая ключ, вы несите эти рамы, а я этот хлам в сорный ящик.

Гриша, в чистом костюме, в накрахмаленной сорочке, с радостью ухватился за тяжелые пыльные рамы и потащил их в сарай, напевая: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить...»

Когда он возвращался из сарая, навстречу ему шла Катенька с огромной коробкой старой обуви – наверху лежали пожелтевшие, стоптанные, с худыми подошвами белые Дарочкины ботинки.

– Куда вы?

– Мама сказала, чтобы я обувь выкинула в сорный ящик, – объявила Катенька.

– Дарочкины ботинки в сорный ящик! – закричал Гриша.

– Подумаешь, – засмеялась Катенька, – они же старые-престарые. – Катенька, взметнув косами, помчалась к мусорному ящику.

– Катенька!

– Выдумали, – не оглядываясь, крикнула девочка, – мама сказала, что хлам надо безжалостно выкидывать.

– Что вы говорите, Катенька, – возмутился Гриша, – ну что вы говорите, их же можно к сапожнику.

Всегда тихий и застенчивый, на этот раз он решительно догнал Катеньку и перед самым мусорным ящиком выхватил у нее из коробки Дарочкины ботинки. Катенька рассердилась. Выбросив обувь вместе со старой картонкой, она хотела отнять ботинки у Гриши и, неожиданно обхватив его за шею руками, крепко поцеловала.

– Ах, какая вы прелесть, Гриша! Подождите, я сейчас! – И она, подпрыгивая, понеслась в дом.

Гриша остался посреди двора, не зная, куда спрятать ботинки, что еще там выдумает Катенька? Вдруг она приведет Дарочку? Нет, вон она возвращается одна. Она протянула большой лист белой бумаги.

– Ах, Гриша, какой вы непонятливый, дайте! – она взяла у него из рук ботинки и завернула их бережно в бумагу. – Возьмите, я все поняла, вы отнесете их домой, спрячете и сохраните как реликвию? Да? Я все поняла, Гриша. И не хитрите насчет сапожника, я вас насквозь вижу. Ну, идите домой и приходите мне помогать. Хорошо?

То ли Катенька разболтала обо всем сестре, то ли просто время убрало естественный барьер отчужденности после долгой разлуки... Вечером он стоял один, не зажигая огня, в своей комнате – горячие руки крепко обняли его:

– Гриша!

– Дарочка!

Весь вечер, всю ночь просидели они, обнявшись, на скамейке у дома, у шелестящих кустов сирени, всю ночь они говорили о предстоящей свадьбе, слушали, как хозяйничает в уснувшем городе весна.

III

Катенька часто заходила к Грише в госпиталь. И потому, что это было по пути из гимназии, и потому, что ее тянуло туда непреодолимо. Она не задумывалась над тем, почему не может пройти мимо госпиталя равнодушно, и не понимала, что гонит ее туда безотчетное стремление, надежда – вдруг она сможет облегчить чьи-то страдания.

Вот и теперь, как обычно, она зашла за Гришей после гимназии, чтобы вместе идти обедать домой.

– У меня сегодня завал, Катенька, иди одна, я закончу не раньше, чем часа через три, – сказал Гриша. Он сидел в своем маленьком кабинете, заставленном белыми шкафами, и писал истории болезней.

– А я подожду, – сказала Катенька, прислонила свою школьную сумку на пол к шкафу и села напротив Гриши на белый, круглый, треногий табурет. – Давай я буду писать, у меня почерк красивый, а вы диктуйте.

– Спасибо, не нужно, – не поднимая головы, ответил Гриша.

– Гриша, неужели я здесь ничем не могу помочь?

– Помочь? Не знаю, Катенька, вы ведь не имеете медицинского образования, – рассеянно сказал Гриша, продолжая писать.

– Гриша, разве больным одни лекарства нужны?

– В том-то и дело, Катенька, что не всегда, далеко не всегда, – вздохнул Гриша и подумал о том, что прапорщику Сереже Воробьеву из четвертой палаты уже не помочь никакими лекарствами, разве любовь и нежная забота смягчат его страдания... – Да, Катенька, лекарства, к сожалению, часто бессильны.

– Гриша, я придумала, Гриша, знаете, кто особенно сильно болен, уже не помогают лекарства, тем я буду приносить варенье, мама даст, вот посмотришь, даст. Как это хорошо, ой, Гриша, как это вкусно – чай с вареньем, особенно с вишневым, клубничным, из абрикосов, из райских яблочек или из лепестков розы – ой, какое пахучее, а из крыжовника, а малиновое! Так хорошо! Я знаю, я болела, когда чай пьешь с вареньем, легче становится, много легче. Гриша, особенно с малиновым вареньем, даже мама говорит... Вот это хорошо будет! И еще пирожные, они, конечно, у нас дома не всегда бывают, но все же достать можно. То мама печет, то Анна Ивановна, моей подружки мама, особенно у Ганечки часто бывают. Ганечкина мать очень добрая, а для чужих, тем более для военных, просить не стыдно,

правда, Гриша? Вот мы с вами хорошо придумали! Я сейчас, сейчас же принесу, а вы Сереже Воробьеву или еще кому.

Забыв взять сумку с книжками, Катенька бросилась к двери.

– Вы меня, Гриша, подождите, я сейчас!

– Катенька, – хотел было остановить ее Гриша, но потом махнул рукой; он хорошо знал, что теперь Катеньку ни переубедить, ни остановить невозможно.

И Гриша продолжал заполнять истории болезней, подумав, что раньше, чем через два часа, Катенька не вернется, потому что лазарет от их дома далеко, на другом конце города.

Но едва прошел час, как двери Гришиного кабинета широко распахнулись и, сияющая, раскрасневшаяся, ворвалась Катенька, победно положила на стол сверток, быстро развернула его.

– Смотрите, Гриша, целая банка вишневого! А здесь, в стакане, малиновое. А это розетки и ложки, и чайник заварной, правда, симпатичный? У нас два было. Два же не нужно в одном доме, так мама дала, она у нас все понимает, Гриша, родненький! А вишневого-то целая банка! И я еще принесу, я много принесу, у нас всегда запас будет, мы его в нашем столе держать будем. Когда кому плохо, пожалуйста, чай с вареньем – сразу легче станет. Гриша, можно я с вами в палату пойду? Я буду тихонько себя вести и говорить шепотом. Гриша, да бросайте свои противные бумажки. Кому нужна эта писанина?

– Так, Катенька, сейчас не время, – Гриша посмотрел на часы. – Мертвый час, сейчас отдыхают больные, спят.

– Вот неудача. А скоро он кончится? Давайте пока чай вскипятим, заварим, я и заварки из дому взяла. Мама говорит, что из общего котла чай невкусный и вообще из самовара вкуснее. Они ведь сколько домашнего чая не пили? То на фронте, то в госпитале... Мы завтра с подружкой сюда самовар принесем, у нас дома есть, ведерный такой. Это еще бабушкин самовар, тульский. Прелесть, только на чердаке он позеленел весь, я его завтра толченым кирпичом так отчищу – сиять будет!

– Да это, Катенька, все лишнее, – пробовал урезонить ее Гриша.

– Ты же, Гриша, не любишь чай и не знаешь, а мы с мамой любим, мы больше понимаем. Я тебе не мешаю, и ты мне не мешай, – обиделась Катенька. – Давай лучше чай вскипятим, стаканы найдем.

– Так это, Катенька, на кухне все есть.

– Тогда пойдем туда, скоро же проснутся!

Грише пришлось отложить все дела и подчиниться Катеньке.

Нелюдимый, властный госпитальный шеф-повар Иван Алексеевич, лысый толстяк с поломанным и оттого огромным левым ухом и тяжелым взглядом заплывших свинцовых глаз, к большому удивлению Гриши, охотно пошел под команду Катеньки.

– Ой, какая чистота здесь! Ой, как хорошо у вас! Прелесть просто! – затараторила Катенька, едва они вошли в кухню.

– Вон тот толстый, у окна, шеф-повар Иван Алексеевич, – шепнул ей Гриша.

– Ой, какой милый! – восхитилась Катенька и поспешила к нему через всю кухню. – Здравсте, Иван Алексеевич, я чай пришла сделать, раненым чай, домашний, с вареньем, я все свое принесла. Ой, как у вас здесь хорошо. Прелесть! Чистота какая! Наверное, и на царской кухне хуже, правда же, а? Это хорошо будет раненым – чай с вареньем, да? А колпак у вас ах какой милый! – И Катенька, пристав на цыпочки, ласково погладила Ивана Алексеевича по голове. – Ну, так что, давайте напоим раненых чаем, настоящим, свежим чаем с вареньем?!

Повар стоял молча, как всегда угрюмый, недовольный, словно прислушивался своим громадным уродливым ухом и к словам Катеньки, и к тому, какое действие имеют на него эти слова. Прислушивался сам к себе – доходило до него все медленно. А потом сразу неуклюже засуетился, глаза его оживились и просветлели.

– Очень это вы молодцом, барышня, все как часы будет сделано, – вытирая ладони о свой большой живот, приговаривал Иван Алексеевич.

А Гриша-то по дороге на кухню опасался, что старый повар нагрубит, оборвет, а то и прогонит Катеньку, и теперь поражался, откуда у девочки взялась такая власть над этим чудовищем, перед которым не только весь кухонный штат по одной половине ходил, но и врачи не смели к нему придаться или перечить.

– Нет-нет, не в общем котле! Сначала вскипятим воду вот в этом голубом чайнике, а потом в заварном заварим! – командовала Катенька. – И давайте стаканы! Эти не пойдут. Что, у вас нет получше стаканов?

– Есть, есть, как часы будет сделано, – суеился Иван Алексеевич и, не отдавая никому приказаний, грузно переваливаясь с ноги на ногу, побежал через всю большую кухню в другую комнату и принес на отличном подносе несколько тонких стаканов в подстаканниках черного серебра.

Разливая по стаканам чай и раскладывая варенье по розеткам, Катенька очень волновалась:

– Первого мы с вами, Гриша, напоим Сережу Воробьева. В какой он палате лежит?

Санитарка принесла Катеньке халат. Он оказался ей велик, это ее очень огорчило:

– Тоже мне, в нем я как чучело, да, Гриша?

– У меня в кабинете сестры милосердия Леночки халат висит, сбегайте, возьмите, он вам будет впору, только широк.

– Широк – это ничего, широк – это можно запахнуться!

Белоснежный Леночкин халат обрадовал девочку.

– Прелесть, Гриша! Просто прелесть – очень люблю все чистое, а вы, Гриша? Чистое белье с мороза пахнет лучше всех духов, правда? Я Сереже вишневого положу, потому что вишневое все любят, вишни – прелесть, правда, Гриша? И компот из вишен самый вкусный, и вареники. Я малины ему положу, может, он пропотеет, а, Гриша? И ему лучше станет, так бывает, да, да, не улыбайтесь. Пойдемте, Гриша, ой, боюсь! – зажмурила Катенька глаза. – Не боюсь, а волнуюсь, да? – Взяла поднос со стаканами хорошо заваренного свежего чая, с розетками и ложечками.

Возле палаты Катенька попросила Гришу остановиться:

– Подождите чуточку!.. Ну... с Богом! – И она переступила порог...

Увидев Гришу, раненные заулыбались, их обрадовал его неурочный приход.

– Это моя будущая свояченица, – представил Гриша Катеньку, – она вас хочет напоить домашним чаем с вареньем, говорит, что чай поможет вам больше, чем мои лекарства. – Стараясь казаться очень веселым, улыбаясь, Гриша подошел к Сереже Воробьеву, молоденькому прапорщику, который недавно перенес тяжелую операцию и у которого, как полагали врачи, не было шансов на выздоровление.

– Ну что, Сережа, как наши дела, чайку попьем?

Сережа поднял отягченные веки, благодарно улыбнулся:

– Спасибо, Григорий Васильевич!

– Сережа, познакомься, это Катенька, сестра моей невесты, она очень хочет напоить тебя чаем с вишневым вареньем.

– И с малиновым, – тихо добавила Катенька.

– Да, да, и с малиновым, – согласился Гриша.

– Чая не хочу, вы просто, Григорий Васильевич, посидите со мной, – попросил Сережа, посмотрел на Катеньку равнодушно, без любопытства, и снова закрыл глаза.

– А вы глоточек, Сережа, глоточек, Сереженька, чай крепкий, вкусный, а? – склонившись над ним, попросила Катенька и двумя пальцами, чуть касаясь, погладила Сережу по щеке. (Так гладила Катеньку мама, когда она болела.)

– Не хочу, – сказал Сережа.

– Ну чуточку! – не сдавалась Катенька. – Давайте, давайте попробуем.

Она вылила чай из стакана в поильник, как-то очень ловко и осторожно взбила подушку под беспомощной Сережиной головой, опять погладила его по щеке своими тонкими быстрыми пальцами.

– Ну, Сереженька! Откройте рот, я, когда наш Митя болел, его вот так же поила. Митя – это мой старший брат, он такой, как вы... Совсем взрослый, в университете учится... Ну, давайте же, Сереженька, а то чай остынет, а холодный чай невкусный.

Катенька набрала ложечку варенья, осторожно и очень ласково поднесла его к Сережиным губам. Он взял варенье, прихлебнул несколько раз чай и снова потянулся губами к варенью и сделал несколько глотков, закрыв глаза.

– Ну, давайте отдохнем, – согласилась Катенька. – Ой, Гриша, я же другим забыла. Что же вы, расставляйте другим, а то все остынет.

Сережа открыл глаза, и Катенька снова принялась поить его чаем с таким сосредоточенным вниманием и с такой нежностью, что Гриша невольно погладил девочку по голове. Сделав еще несколько глотков, Сережа в изнеможении откинулся на подушку.

– Спасибо, больше не могу, очень вкусно, – вздохнул он.

– Еще с малиновым, хоть несколько глоточков, – стала просить Катенька.

– Нет, не могу, сил нет.

– А я подожду, я подожду.

– Спасибо, вы как моя мама, – улыбнулся Сережа, – что, наверное, смешно, что я так сказал, простите. – И он поморщился от боли.

– Болит? – встрепелась Катенька. – Где болит? Гришу позвать?

– Нет, нет, вы поите, Катенька, других, а я отдохну. А потом опять около меня посидите, хорошо?

С того дня Катенька стала частой гостьей в палатах, а потом необходимым, горячо любимым человеком для всех в госпитале.

IV

Он увидел его в первый раз в палате, где содержали арестованных. Еще до обхода санитарка сообщила Грише, что привезли политического. Когда Гриша вошел в палату, больной лежал, натянув на голову простыню. Гриша приподнял ее и встретился со взглядом совершенно здорового человека. А вокруг бредили тифозники...

– Доктор, – сказал больной чуть слышно, – доктор, я совершенно здоров, но мне нужно быть здесь. Митя писал, что вы свой человек, и я доверяю вам свою жизнь. Ясно?

В это время вошла сестра милосердия, и Гриша вынужден был, словно вступая с ним в тайный союз, выслушивать его и выступать.

– Полный упадок сил, думаю, что у вас паратиф, – еще не успев сам для себя ничего решить, сказал Гриша и вдруг заметил, что сестра милосердия Леночка посмотрела на него дружески внимательным взглядом, облегченно вздохнула.

«Неужели и она с ними заодно? – удивляясь и досадуя, подумал Гриша. – Хорошенькая, пухленькая Леночка, дочка булочника, и этот политический, что у них общего?»

Госпиталь был большой, и сразу же на Гришу налетело тысячу дел... Но что бы он ни делал, он все время думал: «Честно или бесчестно поступаю я, подвергая человека смертельной опасности заразиться, вступая в сделку с политическим преступником?»

Вечером он рассказал обо всем Дарочке.

– Нужно все сделать, чтобы спасти его! – крепко сжав Гришину руку, сказала Дарочка. И сразу развеяла его сомнения.

Дарочка взяла с него слово, и Гриша теперь знал, что любым путем он должен спасти этого человека. Это стало делом его чести, совести.

Неожиданно приехал брат Дарочки, Митя. Другьями они с Гришей никогда не были. Митя был излишне резок и прям в суждениях, что коробило деликатного Гришу. Все сверстники побаивались колкого Митинога ума. Манера разговаривать с людьми была у Мити какая-то обидная – он всегда высмеивал своего собеседника. Но сейчас Митя пожал Грише руку и просто сказал:

– Спасибо, брат!

И не прошелся по Грише ни одной своей колкой шуткой.

Это подняло Гришу в собственных глазах, он поймал себя на мысли, что дружить с Митей на равных началах ему бы очень хотелось.

– Боюсь, не подхватит ли он тиф, – деловито сказал Гриша.

– А ты огради!

– Да я все делаю, чтобы этого не случилось.

– Вот и хорошо!

Дарочка восхищалась Гришей, называла его героем. А он целыми днями трясся, как бы Евгений Евгеньевич (так звали политического) не заразился тифом да как бы его не разоблачили. Отдыхал он только вечерами в белой маленькой комнатке, где все дышало чистотой, в «комнате девочек». Раньше в этой комнате жили Катенька и Дарочка, теперь Дарочка на правах невесты занимала ее одна. На этом настоял Митя, а Катеньку переселили в другую комнату. Гриша был очень благодарен Мите за это. Дарочке уже сшили венчалное платье, достали флердоранж, фату и белые туфли.

Однажды утром, придя в госпиталь, Гриша узнал, что вчера вечером во время дежурства Леночки политический сбежал.

В госпитале усилился надзор, появились жандармы. Всех служащих госпиталя, Леночку и Гришу допрашивали.

Вечером Гриша поспешил к невесте, но Дарочка выслушала спокойно и только сказала:

– Видишь, все обошлось хорошо.

Гриша хотел поцеловать ее, но она отвела его голову и шепотом попросила:

– Пожалуйста, не надо. Давай почитаем «Мцыри».

Гриша знал о том, что, когда Дарочка чем-то недовольна или взволнована, она всегда читает Лермонтова. Он согласился. Дарочка начала читать вслух неестественно громко. Когда она устала и ее сменил Гриша, она все время просила:

– Пожалуйста, читай громче!..

Как и когда это началось?

Его не посвятили, обошлись без него. Его помощь понадобилась много позже. В городе с новой силой вспыхнула эпидемия тифа. Теперь Гриша и дневал и ночевал в госпитале. С Дарочкой он виделся урывками, и с каждой новой встречей ему казалось, что она, словно в фокусе перевернутого бинокля, уходит от него все дальше и дальше. Она стала сдержанной, строгой. Держала себя так же отчужденно, как в первые дни его приезда. Он все собирался выяснить их отношения, но, сраженный усталостью (он часто не спал по три ночи), валился с ног.

Однажды, когда Дарочка хлопотала о чае, Гриша заснул у нее на диване, что по тогдашним временам считалось верхом неприличия.

Проснувшись, он вскочил на ноги. Дарочка сидела напротив и смотрела на него потемневшим суровым взглядом. Он стал извиняться.

– Ах, Гриша, замолчи! Это я должна просить у тебя прощения! – И заплакала.

– О чем ты плачешь? – испугался Гриша. – Я обидел тебя? Нет? Так о чем же ты плачешь?

– Я плачу о том, что никогда не будет нашей с тобой свадьбы, никогда. – Выпрямилась, стерла слезы и посмотрела на Гришу, будто бы хоронила его.

Слова ее показались ему дикими, неправдоподобными, он не принял их всерьез, он не мог их принять, как не мог согласиться добровольно умереть.

– Что ты, родная, вот только эпидемия кончится, и мы с тобой поженимся, к свадьбе уже все готово!

Как странно она посмотрела на него...

– Но нельзя же так. Ты же знаешь, я врач, я должен.

– Да! Да! Но как я мучаюсь, Гриша, милый, ты постарайся меня понять! Нет, этого нельзя понять. Просто выполни мою просьбу, пожалей меня. Оставь меня, не приходи к нам пока. Я не могу, не хочу лгать, я не умею.

– Да что с тобой, Дарочка, успокойся. Расскажи, что произошло, почему ты гонишь меня, думаешь, я устал?

– Не то, Гриша, не то... Не спрашивай!

Она стремительно встала, распахнула окно, несколько минут пристально, словно советуясь, смотрела в черное ночное небо, а когда отошла от окна, сердце у Гриши оборвалось: он вдруг понял, что сейчас случится что-то непоправимое.

– Гриша, родной, ты чистый, ты хороший, ты удивительный! Пойми, я не могу сейчас выходить замуж. Я сама не знаю, что со мной творится... Одно я знаю, что так жить, как мы живем, нельзя. Оглянись, оглянись, сколько горя, сколько вокруг горя. Не могу же я сейчас выходить замуж, с этим надо подождать. Евгений Евгеньевич тоже так считает, я с ним согласна. Оставь меня, Гриша, не ходи к нам, я должна сама во всем разобраться.

– Да в чем же, Дарочка? И какая связь между нашей свадьбой и народным горем?

– Ах, Гриша! Пойми, я должна остаться одна, мне так нужно.

– Ты меня не любишь, разлюбила, да?

– Не знаю, Гриша, не знаю. Прошу, оставь меня.

И Гриша ушел, ушел, ни о чем больше не спрашивая, не допытываясь, не требуя. Его спас госпиталь, он был там нужен каждую минуту и проводил там дни и ночи. Он не берегся, а даже мечтал заразиться и умереть, но смерть всегда обходит стороной тех, кто ее зовет.

Как-то под вечер открылась дверь ординаторской и на пороге появилась Дарочка. Она была очень взволнована:

– Пойдем, Гриша, к нам, ты мне очень нужен.

Как они шли через город, Гриша не помнил. Дома Дарочка плотно затворила двери своей комнаты и сказала:

– Гриша, он очень болен. У него, наверное, тиф. Все-таки он заразился. Помогите.

– Кому я должен помочь, Дарочка?

– Ему, Евгению Евгеньевичу. Он у нас, болен. Я тебе тогда не все сказала. Он у нас с того самого вечера, как мы с тобой читали «Мцыри». Тогда он прятался в моей комнате под полом. Митя устроил. Спаси его, спаси! Я люблю его, люблю, ты должен это знать.

Второй раз Гриша увидел этого человека в белоснежной постели своей невесты. Евгений Евгеньевич был в тяжелом бреду, блуждающий взгляд его казался безумным. И снова, как и в первый раз, Митя пожал Грише руку раньше, чем Гриша успел что-то сделать, и сказал ему:

– Спасибо, брат!

Теперь каждую свободную минуту он снова проводил у Дарочки, и его родные радовались: значит, их ссоре пришел конец.

О присутствии в доме Евгения Евгеньевича знали не только Митя и Дарочка, но и мать, и Катенька. От Катеньки скрыть было еще опаснее, чем сказать ей правду. Бедовая, разговорчивая и смешливая девочка на время болезни и пребывания в их доме беглеца была,

по приказанию Мити, уложена в постель и изолирована ото всех якобы по причине испанки. Хотя Катенька и клялась Мите, что будет молчать, «как скала», Митя не мог положиться на нее. «Она ведь не Дарочка, она еще совсем ребенок, не могу я рисковать», – убеждал он мать. А Катеньку уверил, и в этом был резон, что только ее болезнью можно объяснить приход к ним в дом Гриши с медикаментами и шприцами.

Гриша ходил и говорил, как автомат, и все приписывали это его чрезмерной усталости. А Катенька, всплескивая руками, хохотала: «Да не косите же вы так глаза, как заяц. Сам доктор, а вылечить себя не можешь. Что, нервное, да? Раньше у тебя так не было, это все госпиталь – целый день смотреть, как люди страдают, – ужас! Вы у Дарочки двадцать минут сидите, а у меня два часа... Вот тоже хитрый конспиратор».

Дарочка во время болезни Евгения Евгеньевича все время ухаживала за ним. Кризис миновал благополучно, больной стал быстро поправляться. Теперь нужда в Гришиной помощи отпала. С каждым днем труднее было приходиться в этот дом, видеть, как его появление заставляет краснеть Дарочку, прикрывать ресницами глаза, сияющие от счастья.

V

Раньше других разобралась во всем Катенька, хотя Митя все же держал ее в постели. Гриша зашел к ней в комнату и, протянув девочке руку, сказал:

– Прощайте, Катенька!

Она вскочила с постели раздетая, повисла у него на шее, покрывая его лицо торопливыми, отчаянными поцелуями.

– Гриша! Миленький! Гриша, родненький мой, золотой, – твердила она, всхлипывая. – Бог с ней! Она как опоенная! Мама говорит: «Не сотвори себе кумира», а она сотворила! Я говорила с ней, умоляла, а она показала мне на дверь и сказала, чтобы я не совала свой нос куда не следует. Я к ней со всей душой, а она, противная, еще обзывается. Ну и пусть... Вы думаете, она будет счастлива? Мама говорит, что на чужом несчастье себе счастье не построишь. Мама говорит, а она молчит, противная или хитрая, да, да, хитрит, я понимаю. Вот. Говорит, что она восхищается Евгением Евгеньевичем, этим противным хвастуном, да, да, Гриша, она им восхищается, а он просто хвастун, все «я» да «я». Вы послушайте, Гриша, как он говорит через каждое слово «я» да «я», а разве это хорошо, Гриша? Разве это хорошо? Ненавижу хвастунов! А Дарочка и Митя словно ослепли, замечать этого не хотят. Разве это справедливо, Гриша, что они меня ребенком считают до сих пор? Справедливо, да? Тоже мне, ну и пусть, пусть! Гриша, почему у вас лицо, как у мертвого? Сядьте сюда, на кровать. Вам принести воды? Вы думали, что я не знала, да? И никто не знал, мама, Митя? Они знают, знают, потому что видно. Раньше она была обыкновенная, как вы, как я, а теперь? Теперь она и не пьет и не ест и все сидит возле него. Вы думаете, Митя одобряет? Хотя этот человек и его друг и Митя говорит, что он герой. Ну и пусть, только вы благороднее, это я знаю. Да, да, Гриша, я знаю, не говорите ничего! Молчите! Как вы его лечили! Ночи напролет не спали, сама же говорит, что, если бы не вы, он умер бы, ну и пусть, хотя, конечно, жалко. Но вам же он враг, враг, а вы его спасли! Да, да, спасли, вы спасли, а не она. Ну, что ж, мама говорит: «Пусть живет». А я его ненавижу, ненавижу! – топнула ногой Катенька. – Вы ему два раза жизнь спасли, а он... Митя ему так и сказал, я сама слышала, думают, они так и пришили меня к постели! Так брат ему и сказал: «Он тебе два раза жизнь спас, а ты его зарезал». А этот ему: «Что же мне прикажешь делать? Из благодарности к этому студенту, – это он вас так называет – “студентик”, когда вы уже давно врач, якалка противный, так вот он говорит брату, – ты хочешь, чтобы я из благодарности к этому студенту разрешил ему погубить жизнь твоей сестры? Разве ты не видишь, что этот ваш Гришенька – мещанин, махровый мещанин, что он даст такой замечательной девушке, как твоя сестра? Что она с

ним увидит, как проживет жизнь? Он погубит все ее таланты! А я покажу настоящую жизнь, я увлеку ее в борьбу, я дам ей сладость победы, я открою ей мир! Со мной познает она высшее счастье! Истину!» А Митя ему говорит: «Ты сказал сестре, что у тебя дети, жена?» В эту минуту через столовую проходила она, – Катенька упорно не хотела назвать сестру по имени, – проходила и нечаянно услышала разговор. Она вошла в комнату к Мите: «Зачем ты устраиваешь допрос? Кто тебя уполномочивал? Почему вы меня опекаете? Как мне быть, я решу сама, а то даже Катенька лезет с советами!» Гриша, миленький, золотце, – Катенькой овладел новый порыв. – Гриша, посмотрите на меня, все говорят, что мы похожи с ней, как две капли воды. А я сравнивала, я лучше: у меня нога меньше, у нее тридцать шестой, а у меня тридцать четвертый, и уже не будет расти – мне уже пятнадцать лет; и коса длиннее, и ресницы гуще, честное слово, я сравнивала, закрывала один глаз и в зеркало смотрела... и зубы мельче, хотя они смеются, говорят, как у хорька, но это красивее, я читала. И я никогда вам не сделаю больно, всегда буду любить вас. Бог с ней, Гриша, пусть идет за ним, пусть идет. Мама всегда говорит, что надо рубить дерево по себе, она не по вас, она гордячка и хочет быть героиней, тоже мне, ну и пусть, пусть! Гриша, голубчик, женитесь на мне. Через год мне будет шестнадцать лет. Женитесь, плюньте на нее, она вас не стоит. И платье венчалное не нужно мне новое делать, это ушьем, что ей делали, вот туфли только, а так все пойдет. Посмотрите на меня, ну чем я хуже, чем? Я веселая, не буду целыми днями молчать, как она. Гриша, не плачьте, боже мой, зачем вы плачете? Не надо, милый, не надо.

И Катенька залилась слезами, прижимаясь к Грише и не переставая говорить:

– Больно, да? Сердце болит? Если на мне женитесь, это не поможет, да? Гриша, тогда уезжайте на войну, как князь Андрей Волконский, а? Гриша, родненький, хотите, я с вами уйду на войну, буду сестрой милосердия, как Елена Инсарова, а?

Катенька, щедрая маленькая женщина, готовая на все, чтобы облегчить его страдания. Милая, редкая душа, глубоко убежденная в своей обыкновенности. Самое светлое воспоминание его жизни.

Разомкнув ее руки, он ушел молча.

Думал, что ушел навсегда. Ушел, полный негодования и любви.

VI

А через неделю за ним прибежала Дарочка:

– Катенька повесилась!

И он снова провел в их доме бессонную ночь.

А случилось тогда вот что: к тому времени Евгений Евгеньевич уже поправился и, убедившись, что его не разыскивают, стал свободно разгуливать по дому. Каждый день он собирался уехать конспиративно в другой город и все откладывал свой отъезд.

С Катеньки был снят карантин, на этом настояли мать и Дарочка. Вырвавшаяся на свободу девочка целые дни гуляла, наслаждалась весной. В этот вечер она шла к подруге, договорившись с ней, что они пойдут на каменную лестницу. Навстречу ей подъехала пролетка, из нее вышли двое мужчин и стали разглядывать номер дома. «К кому это они в гости приехали, к Масленниковым или к Лещинским?» – подумала Катенька. В одном из них Катенька узнала жандармского офицера, хотя он и был в штатском, – раньше она его часто видела в доме у одной своей подружки, его звали дядей Мишей.

– Нет, это не здесь, нам нужен 155, – назвал он номер Катенькиного дома, – это дальше, примерно на квартал, пройдем. Извозчик пусть здесь ждет, позже подлетит...

Его слова будто ударили Катеньку. Еще ничего не успев придумать, она юркнула в соседний двор и только ей одной известными закоулками, которые она изучила, играя в казаки-разбойники, стала пробираться к себе домой, намного сократив путь и опередив жан-

дармов. Вбежав в дом, она закрыла дверь на большой железный крючок и помчалась в комнату сестры. Катенька не ошиблась... Широко распахнув двери, она увидела Дарочку и Евгения Евгеньевича склонившимися над книгой, русые Дарочкины волосы смешались с его, темными и курчавыми. Катенька поморщилась от ненависти к этому человеку и готова уже была захлопнуть дверь: «Пусть, пусть арестуют, так ему и надо...» Но сейчас же обругала себя: «Дура!» – и, в первый раз за много дней обращаясь к сестре по имени, крикнула:

– Дарочка! Дарочка, где Митя? Там идут к нам жандармы. – С удовольствием, со злым удовольствием, отметила, как побледнели они оба и как потерянно поглядела на нее Дарочка.

Брат спал на кушетке в кабинете отца. Катенька и его растормошила.

– Митя, там идут к нам переодетые жандармы, они совсем близко. Я одна знаю, как его спасти, поверь мне. Знаешь, через чердак на крышу, а там дуб, что растет у Черновых во дворе, а с него на шелковицу – это одно спасение. Их много, они окружают дом, а там его никто не найдет, никто.

Катенька нетерпеливо схватила Евгения Евгеньевича за руку и потянула за собой через все комнаты. Они уже поднимались по лесенке на чердак, когда услышали отдаленный стук в парадную дверь. Катенька еще энергичнее потянула своего спутника за руку. На чердаке стояла душная тьма.

– Ничего, ничего, сейчас привыкнут глаза, – шептала Катенька, – вы только пригнитесь, тут стропила.

Но она опоздала с советом: Евгений Евгеньевич скрипнул зубами от боли, ударившись головой.

– Пригнитесь, совсем пригнитесь, тут где-то труба, – шептала Катенька, – вот пришли, слава богу.

Из чердачного окна струился голубой необыкновенный свет, чистый, весенний. Катенька торопливо открыла раму с выбитым до половины стеклом.

– Снимите туфли и за пазуху спрячьте – по крыше надо пройти бесшумно.

– Но нас могут увидеть со двора? – спросил Евгений Евгеньевич.

– Нет, из-за акаций ничего не разглядишь, лишь бы тихо, а то, может быть, они у нас на балконе. Нам нужно пройти на ту сторону крыши, там дуб, на него совсем просто влезть с нашей крыши, совсем просто.

Как они ни старались тихо ползти, но крыша, казалось, стояла под ними вздувшимся железом. Евгений Евгеньевич полз молча, обливаясь потом. Катенька легко скользила по теплому железу кровли и думала о том, почему эта же самая крыша не стонала так под нею, когда она пряталась здесь во время игр в жмурки или в казаки-разбойники. Вот и темные листья дуба. Но между дубом и крышей опускались тоненькие веточки. Разве по ним взберешься?

– Ничего, тут есть веревка, я ее всю обвязала веточками – подождите, я сейчас.

Они оба залезли на дерево, на самый верх, и схоронились в густой кроне. Евгений Евгеньевич уселся удобно, когда у него освободились руки, пошарил за пазухой и нашел там только одну туфлю. Страх уколол его: найдут, найдут туфлю, может быть, она на крыше или на чердаке у слухового окна...

– Катенька, на чердаке или на крыше я обронил туфлю. Быстро сходите за ней, умоляю вас, идите скорее, а то они найдут меня, найдут...

– Да, да! Я сейчас, – заторопилась Катенька, – я мигом, не волнуйтесь! – И, бесшумно спустившись с дерева, заскользила по крыше.

«Успеть, только бы успеть, – думала Катенька, – только бы успеть. Почему я его не предупредила, как пробраться через сад Черновых! Что будет с ним? Боже мой!» И она спешила, спешила, а крыша все не кончалась, растянулась почему-то на целую версту. Но вот неожиданно на Катеньку надвинулось чердачное окно. Быстро перекрестившись, она опу-

стила ноги в проем окна и мягко прыгнула. Ее левая нога наступила на туфлю. Девочка подняла ее и тут услышала, что по лестнице на чердак поднимаются. Она поняла, что не успеет вернуться. Тогда мгновенно просунула туфлю Евгения Евгеньевича в дымоход и огляделась. Что скажет она жандармам? Почему она очутилась на чердаке?

«Ах, надо найти веревку и сделать, будто бы я повесилась из-за Васи, племянника этого офицера дяди Миши, все знают, что девчонки из-за него сохнут!» Но веревки не было, вернее, она была, бельевая веревка, но протянута в стороне от окна, а повеситься надо было именно возле окна. Катенька развязала пояс, красный простой шнурок с кистями. Пододвинула ящик, сидя на котором она всегда любила здесь читать. Привязала шнурок к балке, сделала петлю и, сообразив, что еще успеет, что чердак большой, а жандармы что-то замешкались на лестнице, вынула из кармана записную книжку с привязанным к ней тоненьким карандашом. Книжка была всегда при Катеньке, так как она баловалась стихами и записывала случайно приходившие к ней рифмы, вычитав однажды, что поэты так делают. Она написала на чистом листке: «Умираю из-за любви к Васе Марченко». Вырвав листок, сунула его в карман, а записную книжку – в дымоход, вслед за туфлей Евгения Евгеньевича. Жандармы поднялись на чердак. Катенька встала на ящик, просунула голову в петлю и, не задумываясь над тем, как все может для нее кончиться, желая лишь не подвести Митю, оттолкнула ящик. Горло ее обожгло, словно зазубренным ножом полоснули, она хотела освободиться от этой удушающей боли, но руки не слушались ее. Она стала хрипеть и биться в судорогах. Этот предсмертный хрип услышали жандармы. Через несколько секунд они были около нее. Один из них, именно «дядя Миша», мгновенно вытащил нож и ловко перерезал шнурок...

– Ну и дела!

– Да, там родители чаи распивают, а здесь барышня что надумала! – Не теряя ни секунды, «дядя Миша» делал Катеньке искусственное дыхание. – Может, еще спасем, скорее за доктором!

Вот тогда-то, вне себя от горя и смятения, прибежала Дарочка к Грише.

Катенька осталась жить.

VII

И еще одно тяжелое воспоминание хранит его память.

Он уходил добровольцем на фронт. Никого не предупредив об этом даже дома. Только с одной Катенькой простился он по-настоящему. Все последние дни она старалась держаться рядом с ним и смотрела на него такими глазами, которые нельзя было обмануть.

– Катенька, я уйду, уезжаю сейчас добровольцем на фронт. Вы, Катенька, умница и потому – молчок! Никому ни слова, понимаете – никому! – Гриша особенно подчеркнул это последнее «никому», втайне надеясь, что Катенька сообщит о его отъезде Дарочке. – А то дома такой рев поднимется, что я не вынесу.

– Вот и хорошо, – обрадовалась девочка, – я читала, это тебе поможет! Мама тоже говорит: «Самое лучшее лекарство – время». Ну и пусть. Тоже мне. Еще заплачет.

Последние дни она стала легко и прямо говорить Грише «ты», как бы подчеркивая их родство, а до этого, хотя они и ели листья калачика на брудершафт, Катенька чаще говорила ему «вы», чем «ты».

– Давай сядем, Гриша, перед дорогой. Обязательно нужно посидеть, чтобы дорога была легкой. А ты и не знал об этом обычае, да? Я замечаю, что взрослые многого не знают. Садись, вот так. – Они помолчали, лицо Катеньки было задумчиво, тихо и торжественно. – Ну, теперь с Богом, – сказала она по-старушечьи серьезно, первая встала, расстегнула ему френч и мелко и часто перекрестила его несколько раз. – Я тебя благословляю, хорошо?

Дарочка мне говорила, что ты в Бога не веруешь, но перед такой дорогой обязательно нужно, чтобы мать благословила. Вон мама Митю и то благословляла, хотя он и смеялся, а мама сказала: «Пусть смеется – ничего он еще не понимает». А твоя же мама не знает, так я за нее. Я ей об этом скажу потом, а то она жалеть будет и плакать. – Катенька крепко обняла Гришу и три раза поцеловала в губы. – Теперь с Богом!

Гриша иступленно курил на вокзале, иступленно ждал, что вот сейчас прибежит Дарочка – снова влюбленная в него и покаянная.

И она прибежала, но слишком поздно, после третьего звонка. Гриша уже поднялся в тамбур и в это время увидел Катеньку и Дарочку в тесной толпе на перроне. За ним поднимались в тамбур молодые сильные парни, и прорваться сквозь их напор Гриша не мог, тогда он отчаянно закричал:

– Дарочка, Катенька!

Его крик слышали все, кто был на перроне.

– Гриша! Где ты? – спрашивала Дарочка.

– Гриша! – звала Катенька и тут же увидела его форменную фуражку, которой он махал. Состав дернулся и поплыл.

– Он там! Он там! – обрадовалась Катенька и, схватив Дарочку за руку, стала проталкиваться сквозь толпу.

Но вдвоем им было не пробиться. Тогда Катенька выхватила цветы из рук сестры, крикнула ей, что она все передаст Грише, и бросилась вслед за поездом. Девочка бежала так отчаянно, так быстро, а поезд шел так медленно, что Катенька догнала Гришин вагон.

– Держите меня! Держите! – крикнула Катенька, поравнявшись с дверью вагона.

Сильные руки парней подхватили ее. Катенька уронила сирень. И через секунду уже стояла в тамбуре перед Гришей.

– Что ты наделала, Катенька! – говорил ей Гриша. – Состав завезет тебя бог знает куда!

Катенька молчала, от бегу у нее так сильно билось сердце...

– Ну и пусть, пусть, я же должна тебе все передать, не ехать же тебе такому несчастному, – заторопилась Катенька, едва переводя дыхание. – Она любит тебя, Гриша, еще как любит, если бы ты видел, как она ревела, когда я ей сказала, что ты уходишь добровольцем на войну. Гриша, Гриша, она сказала, что будет ждать тебя всю жизнь, что любит тебя одного!

Все в тамбуре смущенно и хорошо улыбались и глядели на Гришу с завистью, а он улыбался растерянно и смешно теребил воротник кителя. Катенька говорила все это горячо, искренне, совсем не думая о том, что она лжет. Она видела, что Гриша счастлив, и на ее глаза навернулись слезы от радости, что это счастье принесла ему она.

Они прошли в вагон. В купе, где им уступили место, было много людей, но ни Катенька, ни Гриша не стеснялись их. На Катеньку все смотрели с любовью и нежностью, как смотрят на любимую сестру. Катенька все говорила и говорила. А Гриша думал о том, почему рядом сидит Катенька, а не Дарочка.

– Ну что, Катенька, что Дарочка тебе еще говорила?! Как ты теперь домой доберешься? Там ведь волноваться будут.

– А я до Ростова доеду или, может, в Матвеевом Кургане остановится поезд, там у нас знакомые есть. Доберусь. Я же Дарочке сказала, она же знает, что я тебя догнала, и догадается, что я решила тебя проводить. Вот только мама... но Дарочка ей все объяснит. Конечно, мама такая беспокойная, будет очень волноваться, и на улице будет меня ждать, и на вокзал пойдет. И плакать будет, ах, мама, ну что с ней поделаешь! Гриша, мама тебя очень любит и знает, что говорит? Она, Гриша, говорит, что ты герой, а не он. Она говорит, что он – человек момента! А? Фу, да что я о нем, противном, вспоминаю, нужен он был, тоже мне. А что вон тот дяденька, – кивнула она в сторону немолодого капитана в следующем купе, – почему он такой грустный?

– Так на войну же, Катенька, едет, а не на свадьбу...

– Так все же на войну, все смеются, а он такой грустный. Я, Гриша, сейчас, а?

И пошла к капитану. Она что-то говорила ему горячо, улыбаясь, потом села рядом с ним, и посветлевший лицом капитан стал о чем-то рассказывать Катеньке. Потом Катенька подозвала Гришу и сказала:

– Познакомьтесь с Валерием Павловичем, – сказала так просто, как будто давным-давно знала этого Валерия Павловича.

Катенька и капитан о чем-то долго и весело говорили. И все это время Гриша делал Катеньке знаки возвратиться на прежнее место, чтобы снова начать разговор о Дарочке. Катенька делала вид, что не понимает его знаков, но их понял Валерий Павлович и, извинившись, вышел в тамбур.

– Ты, Гриша, сейчас счастливый, а он несчастный, – объяснила Катенька, – он мать очень большую оставил, одну на маленькую сестренку. Но мы с Дарочкой обязательно ей поможем. Только бы мне скорей домой добраться.

Капитан вернулся, и они до самого Матвеева Кургана так и просидели втроем. О чем только не болтала Катенька, чему только не смеялась, а они смотрели на нее и улыбались. В Матвеевом Кургане состав остановился. Вечер был темный, накрапывал дождь, на маленькой станции пахло мокрой сиренью. Здесь, на этой маленькой станции, едва освещенной желтыми фонарями, они и попрощались с Катенькой. Охваченный тяжелым предчувствием, Гриша горячо поцеловал девочку в щеки, в волосы, в губы, в глаза. А Катенька вдруг разрыдалась и не могла унять слезы. Там, где подслеповатыми желтыми огнями светилась станция, три раза ударил колокол. Последний раз поцеловав в губы Гришу, Катенька подала руку Валерию Павловичу. А он взял и другую ее руку и, склонившись, с глубоким почтением и нежностью поцеловал обе ее руки, маленькие и теплые. Катеньке польстило, что капитан прощается с ней как со взрослой, ей показалось, что она поднимается на гребне волны все выше и выше, так высоко, что дух у нее захватывало, и, обняв капитана, она поцеловала его в подбородок. Поезд уже тронулся, а она, слепая от слез, целовала подряд всех, кто вышел из вагона проводить ее. Больше Гриша ее никогда не видел.

VIII

Через год Катенька умерла. Умерла в день своего рождения, в 16 лет. Умерла уже не от вымышленной, а от настоящей испанки. И Гриши не было в городе, он был далеко-далеко и ничем не мог помочь этой родной душе, единственному необыкновенному человеку, которого он встретил за всю свою долгую жизнь. Из писем родных он узнал, что вскоре после его отъезда Дарочка исчезла из города неизвестно куда, уехала не одна, а с Евгением Евгеньевичем. «Постоялец у них был такой, ты его, наверно, не знал», – писал отец. Позже ему писали о том, что в городе была раскрыта большевистская подпольная организация, которую возглавлял, оказывается, Митя. Писали, что Митя был расстрелян, а Катенька и Гришин отец выкрали труп и похоронили в Гришином дворе среди кустов сирени, где Гриша прятался когда-то с Дарочкой. Следом умерла Катенька. И Мария Петровна, превратившись от горя в маленькую согнутую старушку, уехала с младшими детьми к каким-то дальним родственникам в Сибирь, и как в воду кануло все семейство.

Из госпиталя в госпиталь бросала Гришу война. С первых дней революции он перешел на сторону красных, ни с кем не обсуждая этого вопроса. Просто иначе он не мог, это вышло как-то само собой, потому что это была та суть, благодаря которой его жизнь приобрела смысл.

Григорий Васильевич Марков не остался бобылем. Уже давным-давно у него была семья: жена и два сына. Сыновья стали взрослыми, женились, растили детей и жили далеко.

Изредка они писали отцу и матери письма. В два-три года раз приезжали к родителям в отпуск со своими женами и чадами. Сыновья были счастливы в браке, а поэтому привязанность их к отцу и матери ослабла. Отец уже давно не казался им добрым и могущественным человеком, как в детстве, а просто милым чудачком, который все не уставал требовать ото всех справедливости да все нянчился со своими больными.

Жену Григория Васильевича звали Еленой Андреевной. Он женился на ней в самом конце гражданской войны, случайно встретив ее в одном из полевых госпиталей. Это была его давнишняя знакомая, та самая Леночка – сестра милосердия, которая работала с ним в госпитале, когда там лежал, а потом бежал оттуда при ее помощи Евгений Евгеньевич. Встрече с ней Гриша очень обрадовался – ведь она знала Дарочку, при ней умерла Катенька. Леночка была единственным человеком из той прошедшей, дорогой для него жизни. Она выросла в том же городе, где выросли Гриша и Дарочка, только не на Александровской улице, а двумя переулками дальше – на Кузнечной. Правда, она почти не бывала в их компании, но хорошо знала всех его друзей. Леночка так же, как и он, тосковала по городскому саду и по каменной лестнице, где на берегу моря стояли кожевенные заводы. Вместе со всеми по воскресеньям она ходила в Дубки или в степь собирать полевые цветы. Она видела ту степь, где он когда-то обручился с Дарочкой. И поэтому Леночка показалась ему такой родной среди людей, которые знали его как Григория Васильевича и ничего не знали о нем как о Грише. Леночка была из той жизни, и поэтому он не мог с ней расстаться, он женился на ней. Женился, ничего к ней не питая, кроме благодарности за живую память о милой его сердцу юности. К его счастью, Леночка оказалась покладистой и нетребовательной. Она примирилась со скудной жизнью, не освященной любовью, гордилась, что у нее муж доктор и всеми уважаемый человек. Когда появились дети, она всю свою нерастраченную, даже незамеченную им любовь перенесла на сыновей. Сыновья и в нем пробудили живые ростки любви.

Для окружающих их семья казалась идеальной. Но оба они знали, что у них нет никакой семьи, есть дети, которых они очень любят и для которых стараются создать видимость семьи. Но детей трудно обмануть: то ли им не было тепло в родительском доме, а может быть, потому, что время было такое, но так или иначе они рано покинули родной кров. Старший уехал на строительство нового города, а за ним через год и младший.

И остались отец и мать в осиротевшем доме с глазу на глаз, два чужих человека, у которых и разговору-то всего было: «Надень чистые носки... Садись есть... На дворе опять дождь...» А Григорий Васильевич только и делал, что благодарил за заботу: «Спасибо. Благодарствую... Спасибо...» Благодарил за чистые носки, за хороший обед, за тщательно выглаженную сорочку. И не заметил, как своим равнодушием притушил все краски на лице жены, как постепенно убил в ней любовь к нему, ее мужу и отцу ее детей. Леночка, Елена Андреевна, пожалуй, и не страдала от этого сильно, она не знала другой жизни, другого обращения, а поэтому настоящее принимала за истинное и сама не заметила, как угасли в ней все порывы и желания, пришло равнодушие.

И вот прошло сорок лет, целых сорок лет, и жизнь снова забросила его в родной город. В доме, где раньше жили Маловы, была теперь поликлиника. И странная судьба – Григорию Васильевичу пришлось работать именно в этой поликлинике, хотя в городе было много других медицинских учреждений. И как нарочно, в комнате девочек, в Дарочкиной и Катенькиной комнате, был его кабинет, в котором он принимал больных. Это были все незнакомые лица, которые никогда не знали семьи Маловых, хотя на стене поликлиники и висела мемориальная доска: «Здесь родился и жил руководитель городской подпольной организации большевик Дмитрий Малов, зверски казненный царскими палачами».

У каждого дома есть свой запах. В доме Дарочки всегда пахло зернами сушеной гвоздики. Это был любимый запах Марии Петровны. Она заваривала гвоздику в чай, пересыпала ее зернами чистое белье. Сейчас Григорий Васильевич носил зерна гвоздики завернутыми

в бумажку в кармане и любил, оставшись один, вдыхать их аромат. Гвоздика да балкон со старым потолком из дубовых мелких дощечек, а в нем тухлые от ржавчины крючья для качелей – все материальное, что осталось от людей, ближе и дороже которых не было у него в жизни.

IX

...Григорий Васильевич, как всегда, задерживался, принимая больных, до позднего вечера. Он никогда не укладывался в служебные часы, потому что желающих попасть к нему на прием было слишком много. А ему казалось, что он задерживается потому, что стар и медлителен. Каждого больного он осматривал неторопливо и тщательно, подолгу расспрашивал, стараясь доискаться до истинной причины заболевания. Опыт у него был огромный, а время не сделало его равнодушным к чужим страданиям. Помочь человеку преодолеть недуг – давно стало для него смыслом жизни. Выписать бюллетень и отмахнуться от больного он не мог, считал это обманом, а всякий обман был чужд его натуре. Он не был магом-исцелителем, но он был глубоко порядочным человеком, а отсюда выходили все его поступки. Делать кое-как, создавать видимость труда он не умел и презирал это умение в других. Каждому он старался помочь в полную силу своих возможностей медика, с душой, и поэтому многим помогал. Не помогал лишь тем, кому уже нельзя было помочь, но и для обреченных у него находилось столько внимания и доброты, что они благословляли доктора и безгранично верили ему. Чтобы попасть к нему на прием, люди занимали очередь за несколько дней вперед, будто бы в поликлинике не было других врачей. Все это не могло не породить среди его коллег неприязни к нему, насмешек над его забывчивостью, странными выходками, задумчивостью, рассеянностью. Врачи любили посудачить на его счет, подсматривали за ним и хихикали, когда старик отдыхал на балконе, задумчивый, грустный, отрешенный от мира.

– И чего не идет на пенсию, давно ведь пора, только больных смущает, – говорили коллеги. Они обвиняли его в бестактности и даже в желании выслужиться, но когда, случалось, болели сами, шли за советом и помощью только к нему.

Старый доктор всего этого не замечал, никогда над этим не задумывался. Ему казалось предельно простым – если просят, значит, нужно помочь.

Он был обыкновенный участковый врач без титулов, без званий, но его знал весь город. Благодаря этой популярности он и встретился с Дарочкой.

Как-то Григорий Васильевич услышал у дверей своего кабинета шумливый спор, в котором часто упоминалось его имя. Маленький, сгорбленный, в толстых синих очках, он вышел в коридор.

– Что вы так шумите, Верочка? – обратился он к регистраторше.

– Да вот, Григорий Васильевич, дама просит, чтобы я ее к вам записала, а живет она в Исполкомовском переулке – это же центр города, мы же их не обслуживаем.

– Но я очень, я чрезвычайно прошу сделать мне исключение, – говорила худая высокая старуха в старомодной черной шляпке с вуалью. – Я была у вас дома, доктор, супруга сказала, что вы дома не принимаете, не позволяют квартирные условия. Я чрезвычайно прошу, будьте великодушны!

– Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, я с удовольствием вас приму, – успокоил ее Григорий Васильевич. – Только вам нужно будет дождаться очереди, тут уж я бессилен. Будьте добры, посидите здесь.

– Григорий Васильевич, я же не могу записать гражданку, – возмутилась Верочка-регистраторша.

– А вы и не записывайте, я так приму... Вы присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста.

– Тоже мне блаженный: скоро весь город к нам перетянет, своих будто мало, – ворчала Верочка, когда старый доктор закрыл за собой дверь.

Дама в черной шляпке терпеливо дожидалась своей очереди.

Григорий Васильевич сам выглянул из кабинета и пригласил ее зайти.

– Скажите, доктор, вы никогда не жили здесь раньше? – едва войдя в кабинет, спросила старуха. – Вы не Гриша, Гриша Марков?

– Да, я Гриша, – растерялся Григорий Васильевич, стараясь получше рассмотреть пациентку. – Да, я Гриша, Гриша Марков, а с кем имею честь говорить?

– Я Ганечка, – сказала старуха, – Ганечка Полторацкая, помните? Дарочкина соученица и подруга...

Забыв попросить у дамы разрешения, Григорий Васильевич сел – подвели ноги.

– Ганечка Полторацкая, да-да. Помню. Очень хорошо вас помню. В вас был влюблен Митя, и сестры изводили его...

– Ну, уж и влюблен... – смутилась старуха. – Просто я ему нравилась. Ах, у него такая ужасная судьба, кто бы мог подумать! – Ганечка заломила сухие пальцы. – Ах, у них у всех трагическая судьба, чрезвычайно!

А Григорию Васильевичу вдруг почудились в старческом лице черты той, другой Ганечки, юной и хрупкой, которую все в семье Маловых называли «небесным созданием». Расспрашивать ее Григорий Васильевич боялся, она сама рассказала.

– Дарочка живет здесь. Вы ее не видели? Да, узнать ее трудно, так она изменилась...

– Вы дадите мне ее адрес? – потупившись, глухо сказал Григорий Васильевич.

– Да, конечно. Хотя я сама уже и не помню, когда у нее была. Правда, как-то на базаре в очереди за мясом вместе стояли, вас вспоминали... Живет она на Елизаветинской улице, простите, Розы Люксембург, дом восемьдесят восемь.

Х

Они условились встретиться и вместе нагрянуть к Дарочке: идти один Григорий Васильевич не решился. Знать бы, что застанет ее дома одну, а вдруг будут муж, дети, внуки. Дарочка и внуки – он этого не мог себе представить. То, что сам он стар и сед, что дрожат у него ноги, отказывает сердце и плохо видят глаза, к этому он привык. Но Дарочка жила в его памяти юной и сильной...

На сковородке жарился лук. Седая тучная женщина следила, чтобы лук не подгорел. Долгие годы она готовила обеды на керосинке, потом на керогазе, а вот теперь на газовой плите и никак не могла к ней применить, уж очень быстро все кипело на ней, жарилось и горело.

В передней раздался звонок. Пока она открыла дверь, пока встретила гостью, лук почернел, потом подсолнечное масло вспыхнуло. И гостья и хозяйка с ужасом суетились у плиты, вокруг сковороды, пылавшей, словно факел. Пока они потушили газ, вся кухня наполнилась чадом и хлопьями сажи.

– Дарочка, да закрой же дверь в залу, а то и там все будет черное! И стены! Вот несчастье! Это я во всем виновата! – сетовала гостья.

– Да что ты, Ганечка! Газ я сильно открыла, лук подгорел – и масло вспыхнуло. Я сама виновата! – утешала ее хозяйка, с сожалением оглядывая стены, – ей казалось, что они совершенно черные. Она была вне себя от горя и плохо скрывала это от гостьи. – Новая квартира, стены, все, все теперь пропало! – тихо сокрушалась хозяйка, распахнув окно и открывая настежь дверь на лестничную площадку.

– Ничего, вытянет, – утешала гостья.

– Вытянет, – соглашалась хозяйка, а сама чуть не плакала.

«Новые занавеси, новая квартира, стены, у Катеньки, внучки, на постели белое покрывало, накидки вчера только крахмалила, сушила, гладила. Борщ остался недоваренным, котлеты еще не жарила, картофельной муки на кисель не купила... а тут гостя. С работы скоро придут, а обед не готов. Опять драма будет, Евгений не любит ждать!»

– А я, Дарочка, не одна, – когда сквозняк вытянул копоть и чад, сказала Ганечка, – с гостем!

«Еще новость, час от часу не легче!»

– А где же гость-то?

– Он там, Дарочка, внизу, у подъезда, стесняется. Сразу войти отказался, меня послал посмотреть, может, говорит, не ко времени. До старости такой же стеснительный остался, безотказный, меня сейчас лечит. Вы, говорит, Ганечка, пойдите посмотрите. Вот видишь. Он как чувствовал.

– Гриша? Зачем? Ганечка, зачем ты его привела, – заметалась по комнате Дарья Семеновна. – Нет, нет, Ганечка, нельзя, скажи, что меня нет дома, что уехала к детям. Я не могу его видеть, не могу, и копоть, и я не одета...

С ужасом и омерзением Дарья Семеновна заметила вдруг свой большой рыхлый живот, тяжелые отечные ноги, увидела, будто в первый раз, коричневые, сморщенные руки. Она вдруг ощутила все пеньки своего беззубого рта и страстно пожалела, почему же, ах, почему она давным-давно не вырвала эти заросшие деснами пеньки, почему не вставила вот такие ровные и белые зубы, какими щеголяла сейчас Ганечка? Она вдруг увидела себя со стороны и ужаснулась. Как она ни старалась, она не могла вобрать в себя живот, не могла свои серые подстриженные космы превратить в золотые косы. Она ничего не могла, а сердце, болезненное, усталое, так часто и так нестерпимо болевшее сердце, привыкшее к валидолу и горчичникам, стучало тяжело и гулко. Уже давным-давно ей было глубоко безразлично, как она выглядит, а сейчас... сейчас она металась по комнате и – никто бы ей не поверил, не понял бы ее, – сейчас она, старая женщина, для себя самой стала молоденькой девушкой.

Там, внизу, ждал встречи с ней не старик, перенесший инфаркт и считавший второй этаж самой большой высотой для себя... Нет, там был Гриша, которого она сама отвергла, которому она изменила, но которого верно и свято любила всю жизнь, любила и берегла в своем сердце память о нем вместе с памятью о Катеньке, любимой сестре. Катенька... Вот ее портрет, она смеется, да, она смеется: «Не робей, Дарочка, ты ведь для него все равно та же, не робей!»

А в квартиру в открытую дверь уже входили Евгений Евгеньевич и он, Гриша.

XI

– Дарочка! Смотри, кого я тебе привел, нет, ты посмотри, кого я тебе привел! Раскошеливайся на коньячок – тут простой поллитрой не откупишься! – весело и громко кричал Евгений Евгеньевич, подталкивая гостя впереди себя. – Подхожу, стоит у подъезда старичок-боровичок, а ведь узнал я его сразу. А ты-то, Гриша, ее узнаешь? Смотри, какая она у меня пышная стала, – и он дурашливо шлепнул Дарью Семеновну пониже талии. – Зубы вот только подвели, да ты, Дарочка, не серчай, мы тебе в рот заглядывать не будем, ты нам закусочки поскорее сообрази. Вишь, Гриша, как мы знатно живем. Не квартира, а люкс – две комнаты, кухня, ванная, туалет – одно удовольствие. Живи – не хочу! И служба у меня приличная, и пенсия ничего. Ну, давай, давай пошевеливайся! – обернулся он к Дарье Семеновне. – Смотри, Гриша, она речи лишилась, а ты, шельмец, говоришь, стариком стал, а сам небось действуешь, а? Ха-ха! Да что ж вы руки друг другу не подадите? Да ты садись, Гриша, садись. Вот на диван-кровать садись. Не бойся, что новый, для такого гостя, как ты, не жалко. Ладно, не буду вас смущать, поищу музыку, музычку, музычоночку, – суетливо

потирая пухлые ладони, бросился он к радиоприемнику. Включив приемник, ловко отыскал «музычоночку» и открутил на всю катушку – он обожал все громкое.

«Жил да был черный кот за углом», – сотрясая квартиру, заорал радиоприемник.

Тяжелая, жуткая ненависть сдавила горло Дарьи Семеновны. Ненависть, что в молодости была ее, словно тропическая лихорадка. Приглушенная каждодневной суетой, заботой о том, как и чем накормить большую семью, бесконечными хлопотами о детях и внуках, болезнями, усталостью, ненависть молодости снова вспыхнула в ней с прежней силой. В первый же год замужества упала с ее глаз пелена; она не знала не только настоящего, но даже выдуманного счастья. Евгений Евгеньевич оказался не тем человеком, за которого себя выдавал. Кичливый и трусоватый позер, столкнувшись с первыми же реальными трудностями, почувствовав всю суровость и ответственность революционной борьбы, он отошел от нее, прикрываясь громкими фразами о том, что он, отец детей, не может рисковать своей жизнью, потому что эта самая жизнь принадлежит теперь не ему, а его детям. В первый же год замужества у нее родились близнецы – двое сыновей, а еще через полтора года – дочь. В это время умерла первая жена Евгения Евгеньевича, и Дарочка заставила его поехать в детдом и забрать троих его детей. Так шестерых и воспитывала, стараясь всех любить равно. Шестерых боялась осиротить... Всю жизнь только и делала, что ограждала их от отца. Дети – это было ее государство, смысл жизни. И все шестеро выросли хорошими, добрыми, стоящими людьми. Все шестеро, и свои и «чужие», пошли характером, как говорил Евгений Евгеньевич, «в мамочку». Когда они были маленькие, он их тиранил по пустякам, а когда выросли, стал заискивать перед ними. Все дети его не любили, но никто из них открыто не высказывал своей неприязни. Одна лишь Катенька, внучка, не скрывала от деда своего презрения, хотя он лебезил перед нею больше, чем перед всеми другими, заискивал и всячески угождал ей. Катенька была, пожалуй, единственным человеком во всей жизни Евгения Евгеньевича, которого он любил искренне, любил умильно, и угождать ей, и унижаться перед ней ему доставляло высшее наслаждение.

Дарья Семеновна думала, что годы уже потушили эту ненависть к мужу, отцу ее детей, деду ее внуков, она думала, что ее душа за столько лет страданий уже заслужила покой...

И вот, все опрокидывая и сметая, снова пришла эта дикая ненависть и смяла все чувства, все другие движения души.

Раздался звонок, и Дарья Семеновна, так ничего и не сказав Грише, поспешила в переднюю. Как всегда, метеором влетела Катенька.

– Бабушка! Бабушка! Ты по алгебре пятерку получила! Не веришь? Честное слово. Наша Валентина, ну, не сердись, Валентина Петровна, говорит: «Катя Гальченко, оказывается, у вас при желании уравнения получаются не хуже, чем стихи». Видишь, а ты говорила, что я хвастунья. А она говорит: «Не умаляйте своих способностей». А я говорю: «Это бабушка мне помогала». А она говорит: «Не может же ваша бабушка до сих пор помнить алгебру, она до пенсии учительницей музыки была, а не математики». А я ей говорю: «Помнит, она зато гимназию кончала». А она говорит, вот умора: «Передайте своей бабушке, что я ей пятерку по алгебре поставила». А меня Нинка за фартук тянет: «Катька, молчи!» А я Валентине говорю: «Спасибо, передам, а мне что же поставите?» А она: «На этот раз буду доброй, подели пятерку с бабушкой пополам». А я ей... Ой, есть хочу! Умираю! Сегодня у нас вечер, бабушка! Тоже мне! Ты совсем меня не слушаешь! Опять дед довел, да? Умничал и хвастался или придирался, что денег много истратила, в свой кондуит расходы записывал? «Ты торговаться не умеешь. Мясо можно было взять дешевле», – подражая голосу Евгения Евгеньевича, передразнила Катенька. – У, ненавижу! Уже один его кондуит в мусорку выбросила, и этот сейчас полетит. Там люди? Кто такие? Гриша? Какой Гриша? Гриша Марков? Тот – твой и Катеньки, настоящий? Гриша, тот самый... Ой, как интересно! Гриша Марков! Почему же ты мне сразу не сказала, – зашептала девочка. – Ой, я боюсь туда идти! А как

же ты, бабушка, как же ты? А я, дура, думала, дед довел, тоже мне. Я же тихо говорю, там приемник орет, ничего не слышно! Ты ему дашь прочесть Катенькин, тети Катин, дневник, как она там хорошо о нем писала? Ой, я его сейчас увижу, мне страшно. И тебе, да? Бабушка, родненькая, я тебя очень, очень люблю, больше всех люблю. Я все понимаю, все!

Диван-кровать, на котором сидел Григорий Васильевич, стоял у самой двери в переднюю, и, хотя радиоприемник орал что было мочи, Гриша все слышал в полуоткрытую дверь – все от слова до слова. Голос девочки был так похож на забытый голос Катеньки. И он обрадовался ее приходу так, будто пришла та Катенька. Катенька! Она его всегда выручала и сейчас выручит. Избавит от тяжелого смутного чувства, которое сейчас испытывал он. Ему казалось, что Дарочка давным-давно умерла и сейчас он своими руками раскрыл ее могилу – было смутно и холодно, ноги дрожали, он ощущал, как по ребрам скатываются холодные капли пота.

Дверь открылась шире, и порог переступила робкая, пунцовая от смущения девочка. Следом за нею, тяжело ступая, вошла Дарья Семеновна.

– Вот, Гриша, познакомься с моей внучкой Катенькой.

– Какой он ей Гриша, он ей дедушка! – вмешался Евгений Евгеньевич. – Ха-ха! Смотри, Гриша, не влюбись в мою внучку!

Но на Евгения Евгеньевича никто не обратил внимания.

Опустив ресницы (Евгений Евгеньевич никогда не видел свою внучку такой), Катенька стояла перед Григорием Васильевичем. Подняла глаза и припала к его плечу, всхлипнула, быстро наклонилась к его руке и покрыла ее торопливыми благодарными поцелуями. Григорий Васильевич и руки вырвать не успел, как Катенька, еще громче всхлипнув, уже выскочила из комнаты.

– Подумаешь, нежности развели! Сбегаю коньячку купить – пять звездочек.

– Что вы, Григорий Васильевич, верно, коньяк не пьет, нам бы лучше винца сухого, сухое хорошо чрезвычайно, – посоветовала Ганечка.

1965

Печка

Солнце светило для всех одинаково: и для меня, и для моих обидчиков. Оно светило даже для тех, кто жил на другой стороне земли и кого я никогда не видел – только учил по географии. А наша печка согревала нас с мамой. Эта приземистая чугунная печка была в моей жизни всегда как солнце, только гораздо роднее. Откуда взялось солнце, я не знаю и до сих пор. А печку принес отец накануне того дня, когда суждено ему было исчезнуть.

Она только на вид была маленькая, а на самом деле в ней помещалось два ведра катушков. Ни в войну, ни после войны угля долгое время не было – были катушки, пресованные из угольной пыли. Горели они замечательно, только перед тем, как забрасывать в печку, катушки почему-то рекомендовалось побрызгать водой. Я брызгал их с удовольствием: зачерпну, бывало, из ведра в коридорчике кружку воды и брызгаю, раздувая щеки: фр-р-рт, п-р-р-т, п-фу!

– Да хватит брызгать, Андрюша, сколько можно! – останавливала меня мама, когда я был совсем маленький. А когда подрос, говорила: – Брызгаешь с удовольствием, а в сарай за ними пойти – для тебя целое дело!

Конечно, целое дело – кому охота тащиться в ледяной сарай, особенно на ночь глядя, и голыми руками отковыривать их в смерзшейся куче.

Наша халупа стояла недалеко от моря. В зимнее время северный ветер «Иван» ломил неделями, дул без передышки, и было у нас одно спасенье – печка. Как любил я глядеть в ее раскрытую дверцу, когда у нас бывали дрова и в ней горели не вонючие катушки, а настоящие поленья. Боже мой, как они горели! Это был еще один мир – такой же странный, живой, манящий, невыразимо притягательный и вместе с тем такой же убийственно нелепый в своем конечном сгорании, как и тот, в котором мы жили.

Даже само слово *семья* всегда имело для меня, если можно так сказать, тепловое значение. Семейей всегда было для меня *нечто*, пронизанное общим теплом. Сначала в нашей семье все-таки появился я, а потом печка, но как бы я жил без печки... Мне это так же трудно представить, как нелегко вдруг заговорить сейчас о себе в третьем лице и свою мать Татьяну Петровну называть Таней...

...Никогда в жизни Таня не испытывала еще такого блаженства, такой сладостной пустоты, свободы и легкости во всем теле. Тане казалось, что она не в палате родильного дома, а высоко в небе идет-плывет босая по облакам, подсвеченным снизу золотом утреннего солнца, по облакам, так приятно согревающим ее босые ноги, как когда-то согревали их полузабытые летние дорожки ее детства.

Сын у Тани родился длинный и худой, как ободранный кролик, – смотреть жалко. Зато лицом новорожденный был красив удивительно: кожа гладкая, будто фарфоровая, глаза ярко-синие, волосы густые, огненно-рыжие.

– Несем кормить красивого мальчика! – так и говорили про него няньки.

Таня и ее муж Андрей еще в первые дни после женитьбы решили, что если у них родится дочь, то назовут ее Марией в честь матери Тани, а если сын – Иваном, в честь отца Андрея.

Такое было впечатление, что в тот год родились только сыновья, например, в той палате, где лежала Таня, из восьми рожениц восемь родили мальчиков. Соседки по палате называли своих сыновей Эдуардами, Валериями, Виталиями, у Тани язык не поворачивался назвать своего крошку Иваном. Так и оставался сын без имени.

Но Андрею об этом Таня не писала, потому что он уже в первой записке назвал сына Ивашкой – будто других имен на свете не было.

Все, кто лежал вместе с нею в этой палате, завидовали Тане: Андрей приходил в роддом по несколько раз на день, подолгу стоял под окнами.

На пятый день после родов, к вечеру, Тане принесли записку: «Говорил с врачами, может быть, тебя отпустят пораньше. Крепко целую тебя и Ивана. Андрей».

Когда Тане принесли эту записку, она кормила сына.

– Иван, – прошептала она, – Иван, соскучился за нами папка!

Мальчик деловито сосал грудь и даже не скосил своих синих глаз к лицу матери.

Таню выписали из роддома первого декабря. На дворе стоял такой лютый холод, что встречавший ее Андрей взял конверт с сыном к себе под пальто. Вдоль по сумрачным заснеженным улицам скользили струистые гребешки поземки. Ветер бросал в лицо снежную крупу, стегал Таню по ногам, а ноги у нее – в хлопчатобумажных тонких чулках.

– Креще-е-е-ние! – жмурясь от ветра, крикнул Андрей.

– Что-о?

– Ивану, говорю, – приблизил он вплотную к Тане свое счастливое лицо, – Ивану нашему первое боевое крещение!

– Да, метет...

Говорить было трудно, и за всю дорогу они ничего больше не сказали друг другу. Андрей и Таня снимали небольшую комнатку недалеко от моря. Это была хорошая комната, только отапливаться приходилось керосинкой.

– Вот мы и дома! – Андрей толкнул плечом калитку в воротах, и они вошли в узкий каменистый дворик. – Подержи! – он передал сына Тане и стал открывать висячий замок.

Когда распахнул дверь, в лицо ударило гарью: по комнате густо кружились хлопья сажи.

– Проклятая! – Андрей кинулся прикручивать взбесившуюся керосинку. – Проклятая! Целый день топил! Тепло вам собирал! – отчаянно тряс кулаками, он выскочил во дворик. – Может, и окно открыть?

– Не надо. Так вытянет. Подержи. – Таня подала ему сына и вошла в комнату.

Она навела в комнатке порядок, закрыла дверь, но все тепло ушло, а запах горелого фитиля и копоти остался.

– Чего же ты про люльку молчал? – хитро сощурившись, спросила Таня, когда Андрей с сыном вошли в комнату. – Сюрприз?

– Хотел сюрприз. Не получилось сюрприза. Половина голубая, а половина – железо ржавое. Я же самое главное не рассказал. Начал ее красить позавчера, и вдруг свет погас. Думаю, завтра приду с работы – докрашу. Назавтра пришел домой, открыл дверь – банка с краской на полу валяется. Краска в стеклянной пол-литровой банке была. Валяется банка, и краска вся засохла. Еле отодрал ее от пола, видишь пятно.

– Ничего. Очень хорошая кровать. Очень хорошая! Неужели сам сделал?

– Сам. Кто же еще? Завтра мне в одном месте печку обещали. А дров я уже запас на целый год. И напил, и наколот, завтра покажу. Но главное – достал целую машину катушков, ты представляешь – полный сарай! Я даже не ожидал, что на заводе мне столько выпишут, так пойдут навстречу!

– Ой, как здорово! Нам на две зимы хватит. С печкой да с полным сараем топки здесь будет настоящий рай!

Таня снова зажгла керосинку. Спящий сын лежал поперек родительской кровати.

– Какой красивый! – наклонился над ним Андрей.

– Весь в тебя!.. Ты хоть ел сегодня что-нибудь?

– Кажется...

– Кажется! – передразнила Таня. – И шкафчик пустой! Эх ты!

– Я сейчас сбегаяю! – с готовностью накинул пальто Андрей. – Одну минуту!

Она не успела ничего ответить, как дверь за Андреем захлопнулась. Огонек в керосинке качнулся и едва не погас.

«Теперь их не добелишься!.. – глядя на безнадежно закопченные потолок и стены, подумала Таня. – Я, говорили, до года кричала как резаная, а сын все спит да спит...»

Ребенок лежал беззвучный, как кукла, только у самого его личика едва приметно светлел пар.

– Ты весь гастроном скупил! – всплеснула руками Таня, когда в комнату с ворохом кульков ввалился Андрей.

– Хоть по коммерческим ценам, да зато все пока есть. А как же, мать, праздновать так праздновать!

И Таня и Андрей на минуту смутились оттого, что он назвал ее «мать». Обоих охватило такое чувство, как будто они женаты давным-давно и уже им впору ждать внуков.

– И вино купил! Ну, Андрюшка, – приподнявшись на цыпочки, она чмокнула его в холодную щеку и прижалась лицом к его плечу, благодаря за их общее смущение, за это слово «мать», в котором мелькнул образ их будущей счастливой жизни и верности друг другу.

– Какой же без вина праздник! – дуя на замерзшие руки, улыбался Андрей. – А у нас тем более – и встреча, и проводы... Вообще... – смутился Андрей. – Меня призвали.

Таня сразу так ослабела, что опустилась на кровать рядом с сыном.

– Андрюша... Господи! Как же так? Как же так! Господи! – замирая от страха, зашептала Таня, все еще надеясь, что он сейчас успокоит ее, разуверит, скажет, что война, о которой она вот уже пять месяцев слышала изо дня в день, несчастье всеобщее, а не ее собственное... «Господи, ведь года не прошло, как мы поженились, как же нам расстаться? Разве мыслимо это, разве возможно?» – А как же мы?..

Андрей сел рядом с женой, обнял ее за плечи.

– Ничего, Танюша, ничего. Не плачь. Ну, не плачь, это же Ивану вредно, не плачь!

Вытирая слезы, Таня собрала ужин. И колбаса, и сыр, и конфеты, и копченая селедка – все было на этом столе, кроме хлеба. Андрей забыл купить хлеба, а магазин теперь закрылся до утра.

Они придвинули два стареньких венских стула и сели за этот не по их деньгам пышный стол, за которым все было, кроме хлеба, и прочного мира, и уверенности в завтрашнем дне.

Красное вино играло в стаканах.

– За Ивана! – глаза Андрея сияли любовью.

Вслед за мужем Таня выпила свой стакан до дна.

От вина им сразу сделалось теплее, и комнатка перестала казаться убогой, а будущее таким неопределенным.

– Что-то он и не плачет! – удивился Андрей.

– Не беспокойся, заплачет.

И едва Таня договорила фразу, как мальчик вдруг закричал во всю мочь.

– Ну и голосина! – расхохотался Андрей. – По старым временам быть бы ему дьяконом!

– Мокрый! – счастливо сверкая черными глазами, прошептала Таня. – Мокрый! Молодец ты мой!

Она проворно развернула конверт, переменила пеленку и вновь укутала сына.

– Ну не реви! Ну успокойся! А-а-а! Ты есть хочешь? Конечно. Сами, скажи, пируете с батькой, а я хоть пропади с голоду! Хоть пропади!

Стыдливо повернувшись к мужу спиной, Таня принялась кормить ребенка. Он сразу успокоился и громко зачмокал.

После ужина они уложили малыша в люльку, хорошенько утеплили его со всех сторон и сами легли спать.

В наступившей темноте лишь керосинка отбрасывала на пол желтый кружок света. Блики ее пламени тревожно отражались в наглухо обмерзшем окне. Постель была волглой и ледящей, одеяло тонким.

– Как же я буду без тебя, Андрей?

– Война кончится, я вернусь.

– А вдруг не кончится...

– Кончится, я тебе говорю...

Она хотела возразить ему что-то свое, житейское, но он закрыл ей рот поцелуем. Он ласкал ее бережно. А она не хотела этой бережности, как будто чувствовала, что это их последняя ночь.

Когда он уснул, Таня приподнялась на локте и долго всматривалась в родное лицо: чистый лоб, чуточку упрямые, красиво очерченные губы, густые брови, черные ресницы.

Андрей был очень красив. Когда, случалось, Таня говорила ему об этом, он шурил свои сине-серые глаза, смущался, краснея, и говорил: «Чего выдумываешь? Нашла красавца! Что я, девушка?»

«Хоть бы сын вырос на него похожим!» – подумала Таня. Керосинка ударила копотью. Таня встала, поправила фитиль и снова юркнула в теплую постель слушать ровное дыхание мужа.

Она пролежала всю ночь с открытыми глазами, перебирая в памяти все, что было связано с Андреем. В восемнадцать лет вся ее жизнь разделилась на две неравные по времени части – та жизнь, что была до Андрея, и та, что была с ним... а впереди ее ждала, оказывалась, еще и третья, последняя часть... Она начнется завтра, эта совсем незнакомая жизнь, – без Андрея... Без его улыбки, без его постоянной заботы о ней. Сколько будет длиться этот третий период? Может быть, целый год? Неужели она выдержит? Разве ей хватит воздуха, чтобы прожить без него триста шестьдесят пять дней!

Таня не обижалась на Андрея за то, что он уснул.

«Отдохни, – с нежностью думала она, – отдохни...»

А сама так и не сомкнула глаз. Все вспоминала свою недолгую жизнь...

...Она заканчивала фабзавуч (фабрично-заводское училище) на базе большого авиационного завода.

Ей было задано изготовить лекальную доску. Таня уже не один день билась над доской, но, как ни старалась, зеркальная ее поверхность то там, то тут показывала предательскую неровность. В тот день она замешкалась все с этой же доской и не слышала, как прогудел гудок, еле успела сдать инструменты.

Когда она подбежала к остановке, переполненный трамвай уже отходил. Изловчившись, она уцепилась левой рукой за поручень звенящего и вздрагивающего вагона.

Рука еле удерживала тяжесть тела. Трамвай шел все быстрее и быстрее. Таня жалела, что подцепилась, подножка трамвая была облеплена такими же балансирующими пассажирами, каждый из которых думал лишь о том, чтобы удержаться.

– Проходите! Проходите вперед! Девчонка сорвется! – кричал в трамвае какой-то парень. – Проходите вперед! Потеснитесь!

Вот втиснулся в трамвай мальчишка в меховой шапке, мохнатое ухо которой закрывало Тане глаза, вот вдавилась в вагон толстая тетка, больно протащив по ногам свою хозяйственную сумку. Наконец Таня смогла встать на подножку обеими ногами.

– Потеснитесь! Еще немножко! – кричал все тот же голос.

Спины, единой стеной заслонявшие от Тани вход в вагон, разошлись, в образовавшуюся щель протянулась к ней чья-то рука – черная от машинного масла, сильная, она втянула ее в вагон, в тепло, в тесноту.

Впервые в жизни она увидела так близко чужие глаза, словно углем, обведенные черными ресницами, белые зубы – точно такие, как рисуют на коробках с зубным порошком. Казалось, их сдавили прессом. Она чувствовала тепло его тела, возле ее лица поднималась и опускалась его грудь, глухо стучало сердце. Она дышала запахом паленой металлической стружки, машинного масла и терпким запахом хвои – так пахнет елка, принесенная в комнату с мороза. Она побоялась еще раз встретиться с ним взглядом, ей было жутко...

В трамвае становилось все просторнее. Они теперь стояли друг против друга и смотрели в разные стороны. Когда трамвай остановился у здания курсов по подготовке в институт, на которых она занималась, Таня шмыгнула мимо него. В короткий миг она успела увидеть его тонкие пальцы с черной каемочкой ногтей, теребящие трамвайный билет, пучок лохматых ниток на месте оторванной пуговицы да коричневые парусиновые туфли с затоптанными кожаными носами.

С этой минуты она неотступно думала о нем, даже во сне думала. Она вдруг стала бродить по ночным, непривычно тихим улицам родного города, и ее поражало, сколько в нем, оказывается, чудесных мест для свиданий, сколько акаций, кленов, сколько уютных скамеек. Особенно ей нравилась одна скамейка на старой глухой улочке – широкая, вся увитая черными виноградными лозами. Она подолгу сидела на этой скамейке, мечтая, думая о нем, и не могла представить его настоящее лицо и боялась: вдруг она его не узнает?

В конце концов она подогнала лекальную доску так, что на ней не осталось ни одного темного пятнышка, и ей присвоили квалификацию слесаря-инструментальщика пятого разряда. Из всех девчонок в училище она единственная получила по специальности такую высокую оценку. Теперь предстояли экзамены по теории.

В тот день их бригада была ответственна за чистоту в цехе. Она отпустила всех мальчишек на футбол и одна прибрала небольшой цех. Когда Таня вышла из проходной, на улице было уже темно и непривычно тихо. Она слушала эту удивительную тишину и радовалась ей. Давно прошел час пик, и на трамвайной остановке было пусто. Тускло горела под навесом электрическая лампочка в проволочном футляре, ее желтый мягкий свет наполнял тишину какой-то щемящей однозвучной мелодией.

Таня вошла под навес и сразу потеряла чувство свободы. Она поняла, что он где-то здесь, рядом, и тут же увидела красный уголек папиросы. Рассыпая синие звезды, подошел пустой и гулкий трамвай. На весь вагон они были единственные пассажиры. Кондукторша звенела в сумке медяками и что-то записывала на обрывках билетных лент, видно, считала свою и казенную выручки. Так они ехали в пустом трамвае: она сидела на одноместной скамейке, а он через проход – на широкой скамейке правого ряда.

«Дура! Дура! Какая дура! – всю дорогу ругала она себя. – Не могла сесть на широкую скамейку! Дура!»

За окнами вагона мелькнул ее переулок.

«Ничего, – подумала Таня, – дома скучно, поеду дальше, может, на курсах есть ребята. Покажут, как решать эти последние задачи...»

Через некоторое время кондуктор механическим голосом объявила остановку: «Курсы».

«Поеду дальше, – решила Таня, – все равно на курсах никого сейчас нет».

Так они доехали молча до конечной остановки, до кольца. Он вышел в одну дверь вагона, она в другую, и разошлись в разные стороны.

Завернув за угол, она постояла там минутку, а потом, когда в трамвае зажегся свет, побежала обратно. Вскочив на ступеньку второго вагона, она заметила, что и он вернулся и вошел в первый вагон.

«Он меня не заметил, – с облегчением и тоской подумала Таня, – он меня не видел, слава богу!»

Стоя в тамбуре, сквозь пыльные стекла вагонов она краешком глаза изучала его профиль, склоненную голову, руки, которые она так хорошо запомнила...

А он поминутно беспокойно оглядывался, чувствовал, что кто-то на него смотрит.

«О ком он думает? – спрашивала себя Таня. – Может быть, обо мне? Неужели обо мне? Но что он думает обо мне? Если бы знать!»

На одной из остановок он вышел из вагона. И пропал в темноте. А ночью ей приснился сон...

Летний вечер. К ее дому в белой полотняной косоворотке, подпоясанной серебряным кавказским пояском, идет он, а следом за ним плывет по небу зеленоватый месяц. Босая, простоволосая выбегает она к нему навстречу. Он протягивает ей блюдо с большой живой рыбой. Рыба сияет серебряной чешуей. Она берет у него из рук блюдо, опускает его на пол. Снимает с него туфли, те самые коричневые парусиновые туфли, которые она видела на нем в трамвае. Потом приносит из дому эмалированный тазик и чистой прозрачной водой моет ему ноги – и вдруг вода превращается в кровь...

Мать всегда говорила ей, что есть сны вещие, а есть так – пустые. Вещий или пустой приснился ей сон?

Как только мать заворочалась, Таня окликнула ее:

– Мама, я видела такой смешной сон! Ма, разгадай его!

И тут же, усевшись к матери на постель, она рассказала ей свой сон.

– Суженый, доченька, суженый! Жених тебе приснился. Вот посмотришь, свадьбу играть будем! – засмеялась мать, сама не веря своим словам: уж очень молода была Таня.

– Ну, ма! Ну, что ты говоришь! – вспыхнула Таня.

С этого дня она стала как опоенная – сон и предсказание матери как будто вытеснили все другие впечатления ее жизни.

«Суженый!» – думала Таня и краснела так, что на глазах выступали слезы.

Так постепенно привыкла к тому, что почти всякий раз после работы они ехали домой в одном и том же трамвае. И когда однажды, слякотной зимой, случилось так, что переполненный трамвай отошел, а они с Андреем остались, Таня, забыв, что они не знакомы, сказала:

– Пойдемте пешком!

У него хлопали на ногах галоши, он оставил в грязи сначала одну, потом другую и по непролазной грязи шел за ней следом в своих парусиновых туфлях...

«Как же у него должны были заколоть ноги, – вдруг с испугом и жалостью подумала Таня. – А тогда я и не сообразила! Нет, я подумала, но не так, как должна была, – мне стало смешно, и он мне показался будто бы ослепшим и вдруг на какой-то миг даже разонравился, дура, дура...» Она погладила ноги Андрея, заботливо подоткнула под них со всех сторон одеяло.

И сразу ей вспомнилось, как однажды в обеденный перерыв (завод их стоял на берегу моря) они с Андреем сидели на обрыве, прямо на теплой земле, покрытой иголками первой травы и прошлогодними черными листьями. Среди зеленых упругих стрел травы маленькими солнышками сияли, словно лакированные, лютики, рассыпанные по всему обрыву. Почки на деревьях еще не распустились, но набухли, стали розовыми, и над ними вились еще не окрепшие, короткокрылые пчелы. Дул южный ветер «Магомет».

Таня и Андрей смотрели изумленно в небо – океаны душистого воздуха бесшумно катили свои синие волны... Им казалось, что они тоже плывут на этих ласковых волнах в глубокую синь, в прозрачную бесконечность. А за обрывом, до самого горизонта, светилось море. Море, как и небо, пахло весной, льда уже не было, и нежная прохлада поднималась от воды.

Таня вдруг заплакала, заплакала от счастья, переполнившего ее душу, от той огромной и вечной красоты мира, которую открыли они вместе – вдвоем.

– Если ты когда-нибудь и будешь плакать, то только от счастья, – пообещал тогда Андрей.

Как ошибся Андрюша... Если бы люди были свободны управлять своей судьбой, своей жизнью...

Она поднесла к губам тяжелую безвольную руку мужа и тихонько начала целовать его мозоли. Как она, глупая, ревновала его, как мучила своей ревностью. В конце каждого месяца Андрей, лучший токарь завода, по несколько дней не уходил из цеха – горел план. Как страдала в эти дни Таня! Она знала, что свое задание он давным-давно выполнил, а теперь помогает товарищам. Он пропускал занятия в вечернем институте, где учился на четвертом курсе, а потом ночи напролет просиживал над книгами. А она ревновала без всякой причины, просто сама себе выдумывала несчастья...

Андрей учился лучше многих других, и к нему бесконечно обращались с просьбой «решить задачку». Знали, что Андрей не откажет. Проводив соученика, он бежал через весь город к ее дому и чуть слышно стучал в окно. Он знал – она не спит. Страдающая и гневная Таня выбегала к нему за ворота, и они объяснялись до самого утра.

– Я не могу не помогать товарищам, Танюша, я не могу. Так будет всегда, в этом нет для тебя ничего обидного...

Ей пришел на память тот вечер, который принес им столько тяжелых минут... У нее на курсах последние два часа были пустыми, и Таня решила зайти к Андрею в институт предупредить, чтобы он не ждал ее напрасно. Она открыла тяжелые двери института. Шли занятия. В центре вестибюля две девушки и парень прикалывали к стене новый номер стеновой газеты. Вверху большого белого листа Таня прочла: «Экстренный выпуск. Посвящен Андрею Тоболкину – гордости нашего института, занявшему на Всесоюзном конкурсе рационализаторов первое место». И ниже: «Держите равнение на правофлангового – Андрея Тоболкина». Повесив газету, девчонки и парень ушли в соседнюю комнату, на двери которой висела табличка «Комитет комсомола».

Таня с гулко бьющимся сердцем подошла к стенгазете и начала ее читать. Все заметки были напечатаны на пишущей машинке, многочисленные ошибки тщательно исправлены фиолетовыми чернилами. Все заметки были посвящены Андрею. Тоболкин – лучший рационализатор завода. Тоболкин – стахановец. Тоболкин – лучший студент. Тоболкин – первый спортсмен завода. Тоболкину – слава! И т. д., и т. п. – что было и чего не было...

Таня читала, и щеки и уши у нее разгорались все ярче и ярче.

Прозвенел звонок, захлопали двери, коридор наполнился шумом, табачным дымом, смехом.

В смущении Таня поспешила выйти на улицу. Она видела, как возле стеновой газеты образовалась толпа. Андрея все не было, и только когда вновь прозвенел звонок и толпа у газеты рассеялась, из дальнего конца коридора вышел в вестибюль Андрей. Он потоптался минуту возле газеты, потом аккуратно снял ее, сложил вчетверо, порвал на мелкие кусочки и бросил в глубокую фанерную урну, стоявшую у дверей. Белый от волнения, он вышел на улицу и, не заметив Таню, прошел мимо. Она ничего не поняла и побежала за ним следом.

Андрея затаскали по разным комиссиям и собраниям. Никто не хотел верить его скромности. «Буржуазная отрывка, крайний индивидуализм», – говорили выступавшие на собраниях товарищи, среди них были и те ребята, для которых вечера напролет решал он задачи по математике, тянул их за уши с курса на курс. От Андрея требовали, чтобы он «осознал свою вину» и «покаялся», но он не понимал, в чем виноват, и упорствовал. Многие были уверены, что его исключат из комсомола, а кое-кто поговаривал, что и этим дело не кончится...

Сколько вечеров просидели они в молчании на ее любимой скамейке, увитой виноградом. В молчании или в разговорах о будущей расправе, которая надвигалась день ото дня все ощутимее, – большинство институтских друзей-товарищей, в прежние времена «души

не чаявших в своем жожаке», теперь юркали мимо него, опустив глаза, преподаватели не отвечали на его приветствия.

– Ничего, Андрюша, перемелется – мука будет, – утешала его мать Тани.

Кто знает, как бы все это «перемололось», если бы не пришел вдруг Андрею вызов в Москву на слет ударников. Видимо, как победителя Всесоюзного конкурса рационализаторов его взяли в столице на заметку, записали куда-то, и вот теперь запись автоматически сделала свое дело. А когда он вернулся со слета, страсти уже утихли и жизнь мало-помалу вошла в привычную колею. Все знакомые, полужнакомые и незнакомые люди как ни в чем не бывало вернули ему свое благорасположение. Друзья снова просили решать для них «задачки», преподаватели снова хвалили по всякому поводу и без повода, а уж о том, чтобы кто-то из них не ответил на его приветствие, и речи теперь не было, все улыбались ему, как могли. Словом, все стало как прежде, только и Таня и Андрей сделались еще ближе друг другу...

Таня приподнялась, нашла сухую пеленку, вытерла мокрые от слез уши, волосы, шею.

Андрей застонал и что-то пробормотал во сне.

«Набегался сегодня за один день, как за неделю, – подумала Таня. – И на завод, и в военкомат, и к матери, и в аптеку... За нами в роддом. И все такие концы! По такому холоду!...»

Таня улыбнулась новым воспоминаниям: в день их регистрации он приехал к ней на велосипеде, отвязал от багажника маленький фибровый чемоданчик и передал его Тане.

– Возьми, дома открой... я тебя здесь подожду, выходи только скорей!

Удивленная, она принесла чемоданчик домой. Изломавши ногти, еле-еле зубами развязала старые мохнатые веревки, затянутые узлами. Открыла и ахнула: в чемоданчике – белые свежие розы, они даже не измялись – так были свежи и упруги.

...Сын спал.

Андрей еще затемно ушел за обещанной ему печкой и до сих пор не возвращался.

Таня провела пальцем по холодному, сплошь закрытому ледяными узорами стеклу, и снова сдавило горло. Она отошла от окна и стала вытирать мокрой тряпкой, выстилать газетами, готовить к дальней дороге старенький фибровый чемоданчик. От чемоданчика пахло металлом и машинным маслом – Андрей держал в нем инструменты, – а ей чудился запах роз...

Таня посмотрела в окно, и взгляд ее остановился на двери их сарайчика, который Андрей громко именовал мастерской. Осенью, когда Таня уже пошла в декрет, они с Андреем как-то съездили на лесной склад и купили там досок из отходов, мелких, тоненьких, на взгляд Тани, совсем не стоящих досочек. Но он им радовался, как сокровищу. Дома он обстругивал их и клеивал столярным клеем одну с другой, а потом мастерил из них верстак. Во дворе на скамеечке сидел хозяин квартиры, плотник по специальности, и давал советы. Когда верстак был готов, Андрей был так доволен, что даже согласился пойти с Таней в кино, – на кино ему всегда не хватало времени. Потом он купил как-то на «толчке» старые тиски, потом коловорот и еще уйму всяких инструментов. Когда они бывали с Андреем на базаре, то всегда ссорились: она тянула его в промтоварные магазины «хоть посмотреть», а он рвался в хозяйственные, чтобы бесконечно разглядывать там сверла, пилочки, стамески, – инструменты были его слабостью, он любил их, как женщины любят украшения.

Теперь все эти аккуратно развешанные инструменты оставались без хозяина...

Дверь распахнулась, с мокрым от пота лицом, запыхавшийся, с чугунной буржуйкой и жестяной трубой в комнату ввалился Андрей.

– Андрюша! Как ты такую тяжесть...

– Какая там тяжесть! – по-мальчишески молодецки махнул он рукой. – Там еще в печке хлеб.

– И о хлебе позаботился, ну, Андрюша! – Она прижалась к его плечу, к толстой, пахнущей снегом стеганке.

Таня открыла литую дверцу буржуйки, вынула закаменевшую на морозе черную буханку. В следующую минуту Андрей уже принялся налаживать свое приобретение: вывел трубу в заранее приготовленную форточку из жести с асбестовыми прокладками по вырезу и меньше чем через час опробовал печку.

Словно понимая ситуацию, печка не капризничала, не дымила, дрова быстро занялись пламенем, загудели в ней мощно, и скоро в комнате стало тепло, и запах выгорающего металла смешался с запахом горелого фитиля и копоти начадившей керосинки.

Печка была совсем новенькая – моя ровесница. Подобно тому, как у меня еще не выкатался пушок на спине, так и она была вся в ржавчине, в пыли, забившейся глубоко в поры, в потеках солярки с одного боку, – видно, лежала по соседству с бочкой горючего. До того как мой отец принес ее в дом и одухотворил живым огнем, она валялась где-то в темном складском углу и, не выполняя своего предназначения, как бы не существовала на свете. Вот почему я и считаю, что мы с ней – ровесники.

С младенчества я полюбил ее как родную и, что бы ни случилось между нами, никогда не таил на нее зла. А бывало всякое. Только одних ожогов сколько я вытерпел! От самого сильного из них на всю жизнь осталось клеймо. Угрозило меня, двухлетнего, шлепаясь на пол в погоне за котом Барсиком, удариться голым плечом о ее раскаленный бок. Какими только словами не ругала мама печку, даже била ее поленом. Я тоже грозил ей с кровати:

– Ну-ну-ну, печка!

А когда рана зажила, обида тотчас забылась, и я опять без боязни и зла, а лишь с чистым восторгом смотрел, как пробегают колючие огоньки по малиновой плите.

Как быстро сушились, бывало, над печкой мои штанишки на помочах, перешитые из маминой юбки, связанные мамой носки из козьей шерсти и даже валенки, которые смастерила мне мама из стеганого одеяла; эти валенки, или, как называли их у нас – бурки, я надевал в литые татарские галоши с острыми носами, и мне сам черт был не брат!

А какие вкусные яства готовились на нашей печке: кукурузные лепешки на тюленьем жиру, сладкие бураки в чугунке, затируха! Однажды мы даже пекли на ней пышки из белой-белой канадской муки и ели их с настоящей арбузной патокой! Но больше всего я любил, возвратившись из очереди, поджаривать прямо на плите довески – кусочки замерзшего черного хлеба, обгорая, пахли так сладостно и так хотелось их съесть, что ничего лучшего я и не припомню на своем веку.

Очень долго, чуть ли не до восьми лет, мама не разрешала мне разводить в печке огонь. А вот выгребать золу и жужелку прогоревших катушков мне было доверено значительно раньше. Я всегда с удовольствием очищал нашу печку как можно лучше, чтобы она горела всем на зависть, выгребал золу и жужелку в таз, потом выносил во двор и разбрасывал ровным слоем от коридорчика до ворот. Со временем натопталась отличная дорожка – так что даже то, что выбрасывалось из печки, служило нам с мамой на пользу; между воротами и порогом коридорчика никогда не бывало ни луж, ни грязи, ни льда, на котором мог бы поскользнуться человек...

– Вот теперь я спокоен! – вытирая рукавом капельки пота на лице, сказал Андрей. – Теперь вы с Ивашкой не замерзнете, дождетесь меня в тепле.

На призывной пункт Андрею надлежало явиться к трем часам дня.

Гудели поленья в раскаленной буржуйке, в комнате пахло сосновой смолой, безмятежно спал в своей люльке маленький. Окно оттаяло, и с кровати Андрею и Тане было хорошо видно снежную, сверкающую на солнце улицу.

– Не уезжай! Не уезжай! Не уезжай! – испуганно шептала Таня. – Не уезжай! – горячо целовала она его подбородок, крепкую шею, родинку на белом плече.

...Этим летом они совсем не загорали, ни разу не выбрались на море, которое было так близко, что даже сейчас, если хорошенько прислушаться, можно различить его неумолчный гул. Не до развлечений было. Еще весной тяжело заболела мать Тани. Чтобы ухаживать за нею, старшая сестра Тани Валя оставила работу. На лечение матери и на содержание сестры нужны были деньги. «Это наша забота, – сказал Андрей, – я буду прирабатывать сверхурочно». Бывало, вечером в день получки придет домой, как всегда усталый, голодный, и еще с порога сует ей в руки половину зарплаты и требует: «Отнеси, Танюша, маме сейчас же!» – «Да завтра...» – начнет она. Но Андрей и слушать не хочет и обедать не садится до тех пор, пока она не возьмет деньги и не выйдет из дому...

– Не уезжай! – твердила Таня сквозь слезы.

Он лежал, сладко опустошенный, как будто плывущий в теплом тумане, и так хотел, так хотел поддаться ее уговорам! Если бы это было возможно...

– Андрюша...

– Что?

– Ты можешь для меня...

– Для тебя? Разве не знаешь? Что угодно...

– Правда?

– Ну, говори же, чего хочешь? – легко и нежно погладил он ее лицо.

Она успела поцеловать его руку, набралась храбрости, сказала:

– Андрюша, давай сына назовем твоим именем. Мне так будет легче без тебя. Он ведь у нас еще не записан. А потом второго, когда кончится война, когда вернешься, второго назовем Иваном. Честное слово, Андрюшенька, а? Честное слово!

Андрей нахмурился, подумал и, рассмеявшись, согласился:

– Ну, если ты настаиваешь, давай. Андрей так Андрей. Значит, Андрей Андреевич!

Как будто почувствовав, что речь идет обо мне, я подал голос – еще минуту назад Иван, а теперь Андрей...

А младшего брата Ванечки у меня так и не появилось. Но с тех пор, как однажды услышал о Ванечке, я часто думал о моем неродившемся брате. А услышал о нем я на седьмом году жизни, в один таинственный февральский вечер.

Дул северный ветер «Иван», глянцеви́то-черные стекла нашего окошка словно прогибались под его напором. Время от времени по крыше угрожающе хлопало куском сорванного толя, саманные стены домика держались еле-еле, иногда казалось, они рухнут, «Иван» подхватит нас и унесет в ледяное море, откуда уже не будет возврата.

Но жарко горела посреди комнаты наша печка, и мы не теряли надежды на все лучшее. В полутемной, едва освещенной керосиновой лампой комнатке печка давала не только тепло, но и свет – ее раскаленная плита малиново рдела, и поминутно по ней пробегали волнами едва заметные глазу тени, как будто она дышала.

Мама и тетя Валя перебирали в свете лампы рассыпанную на столе чечевицу. А я сидел на кровати поверх разноцветного лоскутного одеяла и играл сам с собою солдатиками, вырезанными из газеты.

– У Катерины еще один сын родился, – сказала тетя Валя. – Иваном назвали.

– Счастливая, – сказала мама. – Когда Андрей уходил, я его упростила назвать Андрюшку его именем, а, говорю, вернешься – родим еще одного и назовем Иваном.

– А почему не родили? – деловито спросил я, оторвавшись от игры. И этот мой невинный вопрос навсегда вошел в анналы семейной хроники. – Почему не родили?

– Потому, – неожиданно зло оборвала меня мама, – играйся, не лезь, когда взрослые говорят! – И слезы закипели в уголках ее глаз.

Я обиделся, сжал кулачки – такая у меня была манера обижаться – и крикнул:
– Ну и не надо, подумаешь! Я сам его вырою!

Мама и тетя Валя засмеялись.

Тогда я заплакал от злости, стараясь плакать посильнее, пока не довел себя до истерики. А через полчаса уже спал как ни в чем не бывало, и сидевшая надо мной мама говорила своей сестре Вале:

– Надо же, какой нервный, ужас прямо!

Может быть, именно благодаря этому скандальному повороту история с неродившимся братом Ванечкой крепко запала мне в душу, и с тех пор я стал думать о нем как о живом человеке.

Особенно любил я думать о брате, глядя в открытую дверцу отцовской печки, когда там горели не вонючие катушки, а настоящие поленья. Есть счастливые люди, которым почти от рождения все понятно на этом свете: почему светит солнце? почему дует ветер? почему горит огонь? А я никогда не понимал, например, почему горит огонь? И до сих пор не могу взять в толк, как из обыкновенной березовой или сосновой чурки вдруг выходят наружу фиолетовые, сиреневые, багровые, зеленые, желтые язычки пламени, как появляется чудо огня? Я хорошо помню, что тогда я почему-то думал, глядя на горящие поленья: если они могут оживать огнем, то почему бы им не ожить вдруг однажды моим младшим братом?!

Если раньше, играя в своих любимых солдатиков, я иногда позволял врагам наносить мне мелкие поражения временного характера, то отныне этого больше не случалось. За одежальным бугром (лесом, горой) теперь всегда стояли в засаде Ванечкины полки, и в самый опасный момент, по первому моему зову, как и подобает брату, он посылал их на поле боя, и мы побеждали немцев!

Словом, с того достопамятного февральского вечера я никогда не забывал о Ванечке, а однажды, когда был уже постарше и меня коснулось первое личное горе, я, помню, даже писал в отчаянье в одном из моих многих писем отцу: «Если бы у меня был хоть брат...»

– Я сам к нему встану, – приподнялся с постели Андрей, – ты лежи.

Он отстранил Таню и сел на кровати, свесив босые ноги. И сидел так минуты две, словно в оцепенении, так похожий на маленького мальчика, которому не хочется вставать поутру после приятного сна и начинать день, полный уроков и всяких прочих томительных повинностей.

Маленький Андрейка затих.

Печка погасла, дотлевали последние головешки, пришлось Андрею, сидя на корточках, отколоть ножом от сухого полена несколько щепок и снова развести огонь.

– Дрова быстро прогорают, – сказал Андрей, – а катушки будут гореть долго, вам на всю зиму хватит, а то и на две. – Он осекся, сорвавшееся с языка предположение о двух зимах без него показалось Андрею диким, и он сразу же постарался перевести разговор: – Вызывали в партком – предлагали бронь, – он прошел к кровати, присел на краешек, – как рационализатору, еле отказался.

Таня его не слушала, иначе бы не пропустила мимо ушей слов о двух зимах, и в особенности о брони. Она что-то задумалась вдруг о своей матери, представилось ей до малейшей черточки, как лежит мать в полутемной, пропахшей лекарствами комнате, смертельно больная, и все не устает заботиться о них – своих детях. Все, наверное, спрашивает Валю: «Как там наши? Что Таня? Как сыночек? Вон холод какой на дворе!»

– Андрюша! Андрюша, какие у тебя ногти на ногах повыврастали! – Таня словно очнулась. – Дай обстригу.

Она достала из тумбочки ножницы.

– Некогда, – Андрей смутился, – оставь, у нас совсем нет времени.

Он поднял за плечи уже присевшую перед ним на корточки Таню, отобрал у нее ножницы.

В дверь торопливо постучали. Пришла сестра Тани – Валя, закутанная, замотанная сверх платка шалью, слабая и совсем больная.

– Ну что ты пришла! – бросились они к ней. – Через весь город, в такой холод! У тебя же вчера температура была тридцать девять?!

– Ничего, дошла, мама все переживает, как вы тут? Ой, как у вас черно! Что такое?

– Да керосинка коптила, – махнула рукой Таня.

– Вот капуста кислой принесла, синеньких – любимых твоих, Андрюша! Молока у Ивановны литр купили, мама говорит, чтобы ты чаю побольше с молоком пила, это маленькому полезно. Тут в бидончике. И еще теплые распашонки, чепчики принесла – мама лежа все смастерила. Покажите же мне сына.

В дверь снова постучали – пришла старуха, хозяйка квартиры.

– Да что вы, погорели? Батюшки!

– Керосинка, – объяснила Таня.

– Надо же! – горестно поджав губы, старуха тщательно оглядела комнату.

– Да я побелю, ничего не останется, – уверила ее Таня.

– Да бог с ней, – вздохнула старуха, – с сыночком тебя, Танечка, и вас, Валечка, с племянником! Андрюшку мы уже поздравили и пол-литра с ним да с моим дедом распили. Я б вчера еще прибегла, да принести было нечего. С вечера тесто поставила – подошло горой, хорошая примета. Вот пирожки спекла, с пустыми руками к роженице не ходят – грех. – Старуха развернула два еще горячих пирога: – Это вам, а это Андрюшке в дорогу, с капустой, с яичком. Как-то ты у нас такой пробовал – понравился, вот и спекла.

– Спасибо, спасибо, Кузьминишна, да вы садитесь, сейчас чайник поставлю на печку, – пригласила Таня.

– Ой, да какая у вас знатная печка! – восхитилась Кузьминишна. – А я не замечаю! Надо же! Молодец, Андрюша!

– Какая отличная печка! – поддержала старуху и Валя. – А я тоже не замечаю – думаю, отчего так у них жарко, наверное, это я бежала, упарилась.

– Грейся, Валя, – сказал Андрей, – согревайся. Садитесь, Кузьминишна...

– Когда мне сидеть, Андрюша? Вы мне своего парня покажите, да я побегу.

Все они подошли к кровати, старуха откинула пеленку, нагнулась, рассматривая маленького.

– В отца квартирант, в отца удался – ничего не скажешь!

Если бы в тот момент, когда Кузьминишна смотрела на меня в недокрашенной люльке, ей сказали, что я и есть будущий владелец ее дома, точнее, двухкомнатной саманной халупы, крытой толем, которую они с дедом строили целую пятилетку, Кузьминишна очень удивилась бы. Да, именно мне предстояло стать в будущем хозяином этой халупы (по документам – двухкомнатного саманного домостроения общей площадью 24 кв. м по улице Приморской, 17а), и каменистого двора (по документам – приусадебного участка общей площадью 200 кв. м), и орехового дерева, которое посадил той первой военной осенью мой отец.

Года через два или три после начала войны Кузьминишна и ее дед поехали на заработки на рыбные промыслы, километров за семьдесят от нашего города. Думали вернуться с деньгами, завести хозяйство: свинью, кур, может быть, даже корову – такие были у них планы, да так и сгинули навек. Уже не помню, от чего они умерли, мама рассказывала, но я точно не помню, кажется, от малярии, в то тяжелое время в наших краях свирепствовала малярия, впрочем, не в меньшей степени свирепствовал тиф, так что, может быть, – от тифа, а я сейчас просто путаю. Известие о печальной участи наших хозяев пришло только после войны, родственников у них не нашлось, и дом остался за нами. Лет десять мы проживали

в нем вроде бы нелегально, а потом военкомат и заводоуправление помогли маме оформить бумаги, и она официально вступила во владение.

За дверью слышались шум, голоса, смех, крики, и в комнату ввалилась целая ватага товарищей Андрея и Тани по заводу и институту. Сразу стало холодно, запахло тающим снегом, стол и кровать завалили кулками и свертками.

– После пожара?

– Откуда такая чернота?

Таня объяснила.

– Ну-ка, показывайте вашего наследника! – заорали ребята.

Так в бестолковой суете и прошло время.

В половине третьего всей гурьбой вышли на улицу. Солнце, светившее весь день, вдруг затерялось где-то в сером облачном небе, и потянул жестокий северный ветер «Иван». Всей компанией (только Валя попрощалась по дороге – беспокоилась за мать, оставшуюся без присмотра) проводили Андрея до призывного пункта.

– Вы идите, ребята, идите, у каждого ведь по горло работы, – уговаривал приятелей Андрей. – Ну, идите же, черти, напишу сразу, как приеду на место.

– Пошли, пошли, – догадались девчонки, – пусть они хоть на несколько минут с глаз на глаз останутся. Пошли!

Все ушли, вернее, весело укатили по темнеющей скользкой улице. И как будто опустел мир.

– Я напишу сразу. Как приедем на место, в тот же день и напишу. Береги Ивашку... Андрюшку, – смущенно поправился он. – Андрей Андреевича!

Мой отец отогнул двумя пальцами край одеяла, прикрывавший маленькое личико от непогоды, и неловко ткнулся в него губами. Выпрямился, погрозил мне пальцем:

– Смотри, маму слушайся! – и, резко отвернувшись от нас, опустив голову, вошел в ворота призывного пункта. Это были его последние слова, обращенные ко мне, хотя мы и говорили еще много раз – все мое детство, отрочество...

С первого класса, едва научившись грамоте, я стал писать отцу письма.

«Здравствуй, папа!

До свиданья!

1948 г.»

«Здравствуй, папа!

Я тебя люблю.

До свиданья.

1948 г.»

«Здравствуй, папа!

Вчера учительница сказала нам придумать слово на букву “п”. Другие придумали “петух” и “паровоз”. Я первый крикнул “Папа!”. И еще я крикнул “Печка!”. Она сказала молодец. А Рыжий на перемене сказал, что тебя никогда не было, потому что никто не видел. Я ему надавал! Теперь он никогда не скажет. А скажет – убью. Мама плакала. А я ей сказал, что ты все равно приедешь с войны и будешь любить нас.

Твой сын Андрей.

1948 г.

Как-то летним утром я полез на чердак и среди старых газет, журналов, книг и разного хлама наткнулся на Атлас мира. Ни одна книга еще не пленяла меня так, как этот географи-

ческий атлас. Забыв обо всем, я рассматривал его политические и физические карты, читал указатели и справочно-статистические сведения до тех пор, пока на чердаке не стало темно.

– Ма, а может, он в другой стране? – спросил я за ужином. – Я слышал, мальчишки говорили, так бывает.

Мама изменилась в лице, потупилась, тяжело вздохнула.

– Не знаю.

Может быть, она хотела сказать мне, что не нужно обманывать себя, да не решилась. С тех пор я полюбил географию больше всех других наук и стал адресовать отцу письма в чужеземные города.

*«Рим,
Тоболкину А. И.*

Здравствуй, папа!

Вчера меня набили. Мы с Витькой пошли в кино про разведчиков. Он сильный и в футбол гоняет лучше всех на улице. И по дороге все говорил, что Виктор в переводе на русский язык значит победитель. И что он будет разведчиком. Потом нас встретили большие пацаны. Стали заставлять прыгать. Когда прыгаешь – деньги в кармане звенят. Витька прыгал, у него ничего не звенело. Я не стал, и меня набили. Но я все равно не прыгал. А потом Витька сказал, что он их обдурил, – у него деньги были в платочек завернуты, поэтому не звенели. Раньше я его боялся, а теперь не боюсь. На море вода теплая.

Твой сын Андрей.

1949 г.»

*«Варшава,
Тоболкину А. И.*

Здравствуй, папа!

Мама женилась. Не обижайся на нее. Твой портрет висит. И она его чисто вытирает. И твое пальто в шкафу на прежнем месте. Ты не бойся – я все сохранию. Мама говорит, что он хороший человек. Такая морда у него висячая, я его ненавижу. Он сказал, что летом печку надо переставить из моей комнаты в летнюю кухню. Пусть только попробует! На маминой работе мне дали вчера подарок. Он тоже принес со своей работы, но я его подарок выкинул. Завтра Новый год. Поздравляю тебя, любимый папа! Жду. Я всегда тебя жду и никогда не женюсь.

Твой сын Андрей.

1950 г.»

*«Марсель,
Тоболкину А. И.*

Здравствуй, папа!

Ура! Я выгнал ее мужа. Он меня хотел ударить, а я его укусил за руку. И сказал ей, что убегу из дому. Она забоялась, заплакала, они стали ругаться между собой. И потом он ушел. Я сказал, что, если он вернется, я стану уркаганом или утоплюсь в море. Она обещала, что никогда больше не

женится. Теперь все в порядке. Только не обижайся на нее и не говори, что я писал. Скорей приезжай! До свиданья.

Твой сын Андрей.

1950 г.»

«Лондон,

Тоболкину А. И.

Здравствуй, папа!

Теперь мне хорошо. У меня есть собака. Его зовут Друг. Он немецкая овчарка. Все его боятся. Такой собаки ни у кого нет. Он носит портфель в школу в зубах. Он все знает. Лежать! К ноге! Пиль! Барьер! Я его научил. Он меня сильно любит, и я его люблю.

Прочитал книгу “Робинзон Крузо”. Вот если бы мы с тобой попали на этот остров вместо Робинзона! Как было бы хорошо. Ты, я и Друг! Приезжай скорей, мой папа. Неужели ты не приедешь? Иногда я сплю и вижу тебя, но сны забываю. Мама говорит – у меня память никудышная. Очень жду тебя.

Твой сын Андрей.

1951 г.»

«Рио-де-Жанейро,

Тоболкину А. И.

Здравствуй, папа!

Друг умер.

Я его водил к ветеринару в лечебницу. А он все равно умер. За три дня. Друг умер, и теперь я один. Если бы у меня был хоть брат. Скорей приезжай, папа. Скорей!»

1952 г.»

«Париж,

Тоболкину А. И.

Здравствуй, папа!

Я сейчас поднимался по лестнице на чердак в свой штаб, смотрю – закат. Все небо горит в той стороне.

Я все стоял на лестнице и смотрел на закат. Я подумал, что ты на западе и смотришь на этот закат с другой стороны, что мы с тобой за этим закатом, как за забором. И я заплакал – такой красивый он был. И я захотел описать его словами. Не для тебя, ты ведь его видел с другой стороны, а просто так, чтобы он остался.

И я придумал: “Закат пылал!” Правда же, я хорошо придумал? Я сразу понял, что тебе понравится. Эх, если бы я мог, я бы сочинил такую песню, чтобы ее все пели.

До свиданья.

Твой сын Андрей.

1953 г.»

Я складывал эти письма в жестяную коробку и прятал в тайник под молодым орехом, который посадил перед войною мой отец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.